



**MACHIAVELLI E GUICCIARDINI
ALLE ORIGINI DELLA SCIENZA
STORICA DEI TEMPI MODERNI**

MATERIALI DEL CONVEGNO
INTERNAZIONALE,
MOSCA, 23–24 SETTEMBRE 2019

ГВИЧЧАРДИНИ И МАКИАВЕЛЛИ У ИСТОКОВ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ НОВОГО ВРЕМЕНИ



**ГВИЧЧАРДИНИ И МАКИАВЕЛЛИ
У ИСТОКОВ ИСТОРИЧЕСКОЙ
НАУКИ НОВОГО ВРЕМЕНИ**

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ,
МОСКВА, 23–24 СЕНТЯБРЯ 2019 Г.

L'ISTITUTO DELLA STORIA UNIVERSALE
DELL'ACCADEMIA RUSSA DELLE SCIENZE
L'UNIVERSITA' NAZIONALE DI RICERCA
«SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA»
L'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA A MOSCA

**MACHIAVELLI E GUICCIARDINI
ALLE ORIGINI DELLA SCIENZA STORICA
DEI TEMPI MODERNI**

Materiali del Convegno Internazionale,
23–24 settembre 2019

Mosca, 2019

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
ИТАЛЬЯНСКИЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ В МОСКВЕ

**ГВИЧЧАРДИНИ И МАКИАВЕЛЛИ
У ИСТОКОВ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ
НОВОГО ВРЕМЕНИ**

Материалы международной научной
конференции, 23–24 сентября 2019 г.

Москва, 2019

УДК 94
ББК 633
Г – 255

Ответственный редактор – М.А. Юсим

Ответственный секретарь – А.А. Майзлиш

Гвиччардини и Макиавелли у истоков исторической науки Нового времени. Материалы международной научной конференции. Москва, 23-24 сентября 2019 г. М.: ИВИ РАН, 2019. – 156 с. – ISBN – 978-5-94067-503-7

В сборнике публикуются материалы и тезисы конференции, приуроченной к условному 500-летию создания первых современных исторических трудов, а именно сочинений флорентинцев Н. Макиавелли и Ф. Гвиччардини (Макиавелли: 1519 г. – завершение «Рассуждений о первой декаде Тита Ливия», начало работы над «Историей Флоренции»; Гвиччардини – «История Флоренции», 1509 г.), а также к выходу русского перевода «Истории Италии» Гвиччардини (написана ок. 1540 г., первое издание 1561 – 1564 гг.). Кроме того, в 2019 г. исполняется 550 лет со дня рождения Макиавелли.

ISBN 978-5-94067-503-7

© Коллектив авторов, 2019

© Институт всеобщей истории РАН, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

- Бобкова М.С.* Как формировалась новоевропейская традиция историописания? 9
- Bobkova Marina S.* How the Tradition of Historical Writing Was Being Formed in the Early Modern Age?
- Брагина Л.М.* Гвиччардини о роли личности в политической истории Флоренции последних десятилетий XV в. 19
- Braghina Lidia M.* Guicciardini sul ruolo della persona nella storia di Firenze negli ultimi decenni del XV secolo
- Володарский В.М.* Франческо Гвиччардини и Беат Ренан – два пути в развитии исторической науки периода перехода от Средних веков к раннему Новому времени 22
- Volodarskij Vsevolod M.* Francesco Guicciardini e Beatus Rhenanus: due percorsi nello sviluppo della scienza storica durante la transizione dal Medioevo alla prima Età moderna
- Guidi Andrea.* Machiavelli, la Valdichiana e le conquiste e le alleanze di Roma nella penisola italica: ovvero come rileggere la storia di una antica prassi pre-giuridica in termini di utilità politica 24
- (Гвиди Андреа.* Макиавелли, Вальдикьяна и завоевания и союзы Рима на итальянском

полуострове, или новое прочтение истории древней протоюрисдикционной практики в терминах политической полезности)

Дмитриев Тимофей А. Гражданский раздор в «Истории Флоренции» Макиавелли: благо или зло для республики? 38

Dmitriev Timofey A. The Civil Disunion in Machiavelli's "Florentine Histories": the Good or the Evil for the Republic?

Дмитриева М.И. Сиена в трудах Макиавелли и Гвиччардини 44

Dmitrieva Marina I. Siena nelle opere di Machiavelli e Guicciardini

Carta Paolo. L'incipit della Storia d'Italia e l'universo teorico e storico del dibattito tra Machiavelli e Guicciardini. Il ritratto di Lorenzo de' Medici 49

(*Карта Паоло.* Вступление «Истории Италии» и историко-теоретический мир Макиавелли и Гвиччардини. Портрет Лоренцо Медичи)

Кудрявцев О.Ф. Некоторые особенности средневековой хронографии в их соотношении с историографией эпохи Возрождения 52

Kudryavtsev Oleg F. Peculiarities of Medieval Chronography in Comparison with Renaissance Historiography

Cutinelli-Rendina Emanuele. Machiavelli e 57
Guicciardini dalla cronaca municipale alla storia nazionale

(*Кутинелли-Рендина Эмануэле. Макиавелли и Гвиччардини от муниципальной хроники к национальной истории*)

Ruggiero Raffaele. Guicciardini storico del presente e 64
l'archeologia machiavelliana

(*Руджеро Раффаэле. Гвиччардини – историк современности и макиавеллиевская наука о древности*)

Simonetta Marcello. Machiavelli, Guicciardini e la 67
“rovina d'Italia”

(*Симонетта Марчелло. Макиавелли, Гвиччардини и «гибель Италии»*)

Соколов П.В. Идеи Никколо Макиавелли в трудах 68
голландских авторов XVII-XVIII вв.

Sokolov Pavel V. La ricezione di Niccolò Macchiavelli nelle opere politiche neerlandesi del Seicento – Settecento

Уваров П.Ю. История и исторические источники в 76
трактате Рауля Спифама *Dicaearchiae Henrici Regis Christianissimi Progymnasmata*

Ouvarov Pavel Yu. Histoire et sources historiques dans le livre de Raoul Spifame Dicaearchiae Henrici Regis Christianissimi Progymnasmata

Fenzi Enrico. Prima di Machiavelli. Dante, Petrarca e l'italianità dell'Italia 86

(*Фенцо Энрико*. До Макиавелли. Данте, Петрарка и итальянскость Италии)

Щеглов А.Д. «Шведская хроника» Олауса Петри: Средневековые традиции и влияние Ренессанса 119

Scheglov Andrey J. Olaus Petri's work *A Swedish Chronicle*: Medieval Traditions and Renaissance Influence

Юсим М.А. Великие флорентинцы и эволюция исторического знания в Европе 135

Youssim Mark A. I grandi fiorentini e l'evoluzione della conoscenza storica in Europa

Марина Станиславовна Бобкова

Институт всеобщей истории

Российская академия наук

КАК ФОРМИРОВАЛАСЬ НОВОЕВРОПЕЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ ИСТОРИОПИСАНИЯ?

XVI век является важным этапом историографической революции Раннего Нового времени. Его основная характеристика состоит в коренных изменениях отношения общества к истории. В это время происходит трансформация в восприятии прошлого в контексте постановки методологической проблемы – как следует читать и писать историю? Вопросы – кто повествует о прошлом, как они это делают, почему обращаются к истории, наконец, что такое история? – выдвигались на первый план и получали самые различные ответы.

Переходная эпоха характеризуется настоящим бумом многочисленных дискуссий о характере исторического знания. Источниковая база для изучения этого сюжета очень большая. Трактаты о восприятии прошлого появляются в начале XVI века, раньше всего в Германии. Особенный интерес представляет тот факт, что книги, посвященные исключительно вопросам жанра, целей, достоинств, и особенно методу писания и чтения истории, становятся особенно популярны во 2-ой половине XVI в. Мы полагаем, что это связано с попытками найти выход из общеевропейского политического кризиса в историческом опыте, актуализировав его поисками ответов на вопросы современного социума. Если в сочине-

ниях исторического жанра предыдущих эпох (то есть за две тысячи лет) только в небольших «введениях» авторы вскользь касаются рассуждений о прошлом, то теперь за одно столетие было написано несколько сотен объемных трактатов, специально посвященных проблемам метода, способам познания прошлого. В течение второй половины XVI века, приблизительно за 30-40 лет, в Западной Европе было издано более 100 трактатов об искусстве истории. Пик издательской активности приходится на период с 1550 по 1590 гг. Это был революционный прорыв не только с точки зрения массового интереса к историческому прошлому, но и с точки зрения уровня и способов изложения истории. Историзм переходной эпохи в самом своем начале – в период Реформации – достиг наивысшей точки своего развития, своей самореализации.

В отличие от средневековых представлений об изучении прошлого, историописание переходной эпохи выработало метод изучения истории как способ теоретического осмысления прошлого человечества. Он был основан на следующих принципах: информативность, поскольку история несет в себе, прежде всего, знания; правдивость, фактографичность, а не оценочность в подходе к материалу, которая характерна для философии, но не для истории; смысловая, а не дидактическая оценка прошлого; дифференцированный, сравнительно-критический подход, обусловленный спецификой исторического материала; выявление причинно-следственных связей; использование в объяснении истории закономерностей, признание идеи поступательного развития человеческого общества во временных рамках

мира, установленных Творцом; единство рассмотрения социальных и природно-климатических факторов, влияющих на ход исторического процесса; филологический анализ исторических источников; доступность и увлекательная форма повествования.

Трудно переоценить роль итальянских гуманистов в разысканиях, переводах, комментировании и издании трудов античных историков. По сведениям профессора Лейпцигского университета Франца Людвига Швайгера, с момента изобретения книгопечатания и по 1700 г. в Западной Европе находилось в обращении более 2,5 млн экземпляров печатных изданий сочинений античных историков. Среди них были – Саллюстий (553 000 экз.), Валерий Максим (198 000 экз.), Цезарь (189 000 экз.), Курций (179 000 экз.), Тацит (316 000 экз.), Ливий (160 000 экз.), Светоний (155 000 экз.), Флор (152 000 экз.), Юстин (73 000 экз.), Иосиф Флавий (141 000 экз.), Плутарх (62 000 экз.), Ксенофон (84 000 экз.), Геродот (44 000 экз.), Фукидид (41 000 экз.), Диодор и Дион (по 25 000 экз. каждый).

Но этим вклад итальянских гуманистов XV столетия в развитие историописания, конечно, не ограничивался. Авторы исторических сочинений XVI в. очень высоко оценивали гуманистическую периодизацию Франческо Петрарки, филологическую критику источника, блестящий пример которой дал Лоренцо Валла, выявление причинно-следственных связей и политическую теорию Никколо Макиавелли. Но лучшим историком среди них они признавали Франческо Гвиччардини (Пецель, Боден, Леруа).

Кратко назовем причины столь высокой оценки его творческого наследия. Во-первых, Гвиччардини соответствовал требованиям, предъявляемым эпохой к идеальному историку: в основном он писал о событиях, свидетелем и участником которых являлся, т.е. «современную» историю, он писал о том, что хорошо знал и в чем разбирался.

Во-вторых, его правдивость в изложении событий основана на широком использовании документов. Как известно, в 1530 г. он перенес домой большую часть флорентийского архива, благодаря чему мог обращаться к отчетам флорентийских послов и использовать другие официальные документы. Помимо своего семейного архива историк использовал архивы других флорентийских семей, письма, документы, рассказы очевидцев, а также сочинения других историков. Гвиччардини проделал огромную работу по сопоставлению источников. В «Истории Италии» нет субъективного освещения фактов, применяемого для доказательства правоты своих мыслей. К рассказам очевидцев он тоже относится критически, оценивая надежность источника информации. Гвиччардини проявляет большую проницательность в определении мотивов различных поступков. Его интересует при этом не их этическое или моральное наполнение, а воздействие на события.

В-третьих, Гвиччардини стремится к объективности в изложении фактов и старается избегать их оценки, т.е. в его сочинениях изменяется основная цель обращения к истории. В трудах многих гуманистов предполагалось, что из чтения исторических сочинений человек извлечет

многочисленные уроки для себя лично и для «общего блага», поскольку история – сокровищница поучительных примеров индивидуальной и общественной морали, проявления или, наоборот, отсутствия добродетелей. Гвиччардини указывает на сложность истории и важность понимания отличий контекста мотивов поступков людей, времени и обстоятельств, к которым относятся те или иные примеры, используемые с дидактическими, воспитательными целями.

В-четвертых, история представляется ему не статичной «сокровищницей», а динамичным процессом, предполагающим историческое движение. Меняются условия, в которых живет человек или существует государство, меняются мотивы поступков и соответственно изменяются результаты, последствия действий. Эта мысль была очень привлекательна для французской национальной школы права (Фр. Отман, Фр. Канно, Ж. Боден представители которой резко критиковали вневременную сущность максим римского права. Для Гвиччардини не существует общих концепций, «правил», которыми можно объяснить все или многое, произошедшее в истории. Его взгляд на прошлое всегда конкретен, «фактологичен», а факт всегда обусловлен меняющейся со временем конкретной ситуацией. Это утверждение не нашло широкого развития в последующем историописании раннего Нового времени, которое явно тяготело к познанию универсума и созданию масштабных обобщенных моделей прошлого.

В-пятых, Гвиччардини указывает на абсолютную недостаточность информированности людей о событиях

прошлого и даже настоящего. И эта причина лежит в основе неверных или даже ошибочных оценок как настоящего, так и прошлого.

В-шестых, отметим очень важное замечание историка о необходимости фиксировать в исторических сочинениях вещи общеизвестные и очевидные во времена создания произведения и во время жизни его автора, но приходящие в забвение с течением времени. Это делало бы возможным более точное понимание многих важнейших событий и поступков людей, память о которых стремился сохранить историк.

Перечисленные особенности мастерства Гвиччардини-историка не претендуют на всеобъемлющую характеристику, но они имели непосредственное влияние на историков следующего за ним поколения и предложили западноевропейской культуре абсолютно новое видение и оценку прошлого. А творчество Фр. Гвиччардини украсило один из основных генерализирующих потоков в становлении новоевропейского историописания.

Marina S. Bobkova

*Institute of World History
Russian Academy of Sciences*

HOW THE TRADITION OF HISTORICAL WRITING WAS BEING FORMED IN THE EARLY MODERN AGE?

The 16th century is an important stage in the historiographic revolution of the Early Modern Age. Its main characteristic is the fundamental change in the attitude of society to history. It was the time of transformation in the perception of the past in the context of the setting up a methodological problem – how should one read and write history? Questions – who tells about the past, how they do it, why they turn to history, finally, what is history – were highlighted and received a variety of answers.

It is difficult to overestimate the role of the Italian humanists in the search, translation, commenting and publication of the works of ancient historians. According to Franz Ludwig Schweiger, a professor at the University of Leipzig, since the invention of printing till 1700 more than 2.5 millions of copies of printed editions of books of ancient historians have been in circulation in Western Europe.

But this, of course, did not limit their contribution to the development of historical writing. The authors of the historical writings in the 16th century highly appreciated the humanistic tradition of the past – the periodization of Fr. Petrarch, philological criticism of the source, a brilliant example of which was given by Lorenzo Valla, the identification

of cause-effect relationships and the political theory of N. Machiavelli. But they (Petzel, Boden, Le Roy) recognized Francesco Guicciardini as the best historian among them. Let us briefly mention the reasons for such a high appreciation of his heritage.

1. Guicciardini suited the requirements set by the epoch for the ideal historian: he mainly wrote about the events, which he witnessed and participated in, i.e. “Modern” history, he wrote about what he knew and what he understood.

2. His truthfulness in the narrative of events is based on the extensive use of documents. Guicciardini did a great work comparing sources. In the “History of Italy” there is no subjective coverage of the facts used to prove the correctness of his thoughts. He is also took a critical look at eyewitnesses, assessing the reliability of the source of information. Guicciardini shows great insight in determining the motives of various actions. He is not interested in their ethical or moral content, but in their impact on events.

3. He strives for objectivity in presenting facts and tries to avoid evaluating them, i.e. his writings change the main purpose of the reference to history. In the works of many humanists, it was assumed that a person would learn numerous lessons for himself and for the “common good” from reading historical works since history is a treasure trove of instructive examples of individual and public morality, manifestations or, conversely, lack of virtues. Guicciardini points to the complexity of the history and the importance of understanding the differences in the context of the motives of people’s actions, time and circumstances, which include certain examples used for didactic, educational purposes.

4. The history does not seem to him to be a static “treasury”, but a dynamic process involving a historical movement. The conditions in which a person lives or the state exists change, and the motives of actions change and the results and consequences of actions change accordingly. This idea was very attractive to the French national school of law (Fr. Othman, Fr. Kanno, J. Baudine), whose representatives sharply criticized the timeless essence of maximal Roman law. For Guicciardini, there are no general concepts, “rules” that can explain all or much of what happened in history. His view of the past is always concrete and the fact is always due to the concrete situation changing over time. This assertion did not find widespread development in the subsequent historiography of the Early New Age, which clearly manifested itself in the knowledge of the universe and the creation of generalized models of the past.

5. Guicciardini indicates the absolute lack of awareness of people about the events of the past and even the present. And this reason lies at the basis of incorrect or even erroneous assessments of both the present and the past.

6. We note a very important remark by the historian about the need to record in historical works things that are well known and obvious at the time of the creation of the work and during the life of its author, but come to oblivion over time. This would make possible a more accurate understanding of many of the most important events and actions of people whose memory the historian sought to preserve.

The listed features of the Guicciardini-historian mastery do not pretend to be a comprehensive characteristic, but they had a direct impact on the historians of the next generation

and offered a completely new vision and appreciation of the past to Western European culture. And the creativity Fr. Guicciardini enriched one of the main generalizing streams in the formation of historical writing of Early Modern Age.

Лидия Михайловна Брагина

*Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова*

Гвиччардини о роли личности в политической истории Флоренции последних десятилетий XV в.

Доминирующие представления о роли личности в истории, характерные для эпохи Возрождения.

1. Концепция гуманистов о возможностях человека и его роли в земном бытии.

2. Сферы влияния личности на исторические процессы – политика, дипломатия, военное дело, наука, литература, искусство – в понимании ренессансных мыслителей.

3. Франческо Гвиччардини – политический мыслитель и историк – его представления о возможностях талантливой личности влиять на ход развития самых разных исторических процессов.

4. Пример такой личности он видел в Лоренцо Медичи, реальном правителе Флоренции в последние десятилетия XV в., когда ещё сохранялся ее республиканский строй.

5. Политические взгляды Гвиччардини, его концепция идеальной системы власти, возможной лишь при олигархическом характере республики, расходились с реальной ситуацией, сложившейся во Флоренции при Медичи.

6. В «Истории Флоренции», написанной Гвиччардини в 1509 г., он отмечал позитивные ре-

зультаты правления Лоренцо Медичи, высоко оценил его роль как дипломата в общественной политике, активно способствовавшего утверждению мира между враждовавшими государствами в Италии.

7. Позже, в «Истории Италии», когда стали очевидны результаты бедствий, связанных с итальянскими войнами, Гвиччардини подчеркнул важную роль Лоренцо Медичи в установлении мира на Апеннинском полуострове, считая, что если бы не смерть Лоренцо в 1492 г., то ход событий в Италии был бы иным.

8. Позитивную роль Лоренцо Великолепного (так его стали называть еще при жизни) Гвиччардини связывал и с его многоплановым меценатством, начатым еще Козимо Медичи. Лоренцо активно способствовал развитию ренессансной культуры, поддерживая морально и финансово художников, архитекторов, поэтов, философов, что сделало Флоренцию главным центром Возрождения не только в Италии, но и для других европейских стран.

9. Отмечая и негативные стороны правления Лоренцо Медичи, Гвиччардини не придавал им, однако, фатального значения в историческом развитии Флоренции. Он видел в Лоренцо наделенную различными талантами масштабную личность, оказавшую значительное влияние на ход истории в Италии.

Lidia M. Braghina

Università statale di Mosca

**GUICCIARDINI SUL RUOLO DELLA PERSONA NELLA STORIA
DI FIRENZE NEGLI ULTIMI DECENNI DEL XV SECOLO**

Il rapporto esamina le idee di Francesco Guicciardini, storico e politico, sulla capacità di una persona di talento di influenzare il corso dello sviluppo dei processi storici. Un esempio di tale personalità lui vedeva in Lorenzo de' Medici, un sovrano reale della Firenze repubblicana negli ultimi decenni del XV secolo. Nelle "Storie fiorentine" scritte nel 1509 Guicciardini altamente apprezzò il ruolo di Lorenzo de' Medici come diplomatico che aveva attivamente aiutato a stabilire la pace in Italia. Più tardi, nella "Storia d' Italia" Guicciardini sottolineò che se non ci fosse stata la morte di Lorenzo nel 1492, l'andamento degli eventi storici durante le guerre italiane comminciate nel 1494 sarebbe stato diverso. Guicciardini collegava il ruolo positivo di Lorenzo anche alla sua poliedrica attività di mecenate che influenzò significativamente lo sviluppo della cultura rinascimentale. Egli vedeva nella figura di Lorenzo il Magnifico una personalità di spessore, molto talentuosa e che ha lasciato un notevole segno nella storia.

Всеволод Михайлович Володарский

*Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова*

**ФРАНЧЕСКО ГВИЧЧАРДИНИ И БЕАТ РЕНАН – ДВА ПУТИ В
РАЗВИТИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ ПЕРИОДА ПЕРЕХОДА
ОТ СРЕДНИХ ВЕКОВ К РАННЕМУ НОВОМУ ВРЕМЕНИ**

В центре внимания обоих гуманистов-современников была национальная история их стран. Для Гвиччардини главной стала не знающая равных по фактологии история политики, дипломатии и войн на Апеннинском полуострове в пору жизни автора. Для Беата Ренана главными стали связи истории и филологии, разработка методики текстологической критики источников и публикации на этой основе античных текстов о древних германцах и источников по немецкой истории в ранние Средние века.

Vsevolod M. Volodarskij

Università statale di Mosca

**FRANCESCO GUICCIARDINI E BEATUS RHENANUS: DUE
PERCORSI NELLO SVILUPPO DELLA SCIENZA STORICA
DURANTE LA TRANSIZIONE DAL MEDIOEVO ALLA PRIMA
ETÀ MODERNA**

Al centro di attenzione di entrambi gli umanisti, vissuti nella stessa epoca, è stata la storia nazionale dei loro paesi. Per Guicciardini fu fondamentale l'unica per la sua ricchezza degli eventi storia della politica, della diplomazia e delle guerre che si svolgevano sulla penisola appenninica durante la vita dell'autore. Per Beatus Rhenanus, furono di principale importanza le connessioni della storia e della filologia, lo sviluppo della metodologia di critica testuale delle fonti e la pubblicazione su questa base degli antichi testi sui Germani e delle fonti relativi alla storia germanica nel primo Medioevo.

Andrea Guidi

Università degli Studi dell'Insubria /
SFB 1015 Muße, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

**MACHIAVELLI, LA VALDICHIANA E LE CONQUISTE E LE
ALLEANZE DI ROMA NELLA PENISOLA ITALICA: OVVERO
COME RILEGGERE LA STORIA DI UNA ANTICA PRASSI PRE-
GIURIDICA IN TERMINI DI UTILITÀ POLITICA**

Molto si è detto e scritto sull'uso di Livio e di altri storici antichi da parte di Machiavelli. Con questo intervento intendo riprendere in mano una ricerca che cominciai più di una decade orsono e che lasciai cadere per mancanza di tempo e soprattutto perché impegnato in numerosi altri progetti professionali. Tale ricerca riguarda il modo in cui, attraverso una lettura critica dei precedenti storiografici, il Segretario fiorentino commenta l'uso dei *foedera* e delle paci nella storia dell'espansione territoriale della Repubblica romana; ovvero, nello specifico, le modalità con cui Machiavelli rilegge la funzione storica del cosiddetto *ius fetiale* e del *ius belli*: quell'insieme di pratiche di carattere pre-giuridico e religioso riconducibile ai rituali di guerra e alleanza romane. Per la precisione, anzi, la mia analisi si concentra sul modo in cui lo stesso Segretario fiorentino si pone di fronte alle rielaborazioni storiografiche che di queste pratiche originariamente offrirono prima Livio, Cicerone e altri scrittori antichi, quanto poi vari umanisti più vicini a lui. I modi impiegati da Machiavelli in tale operazione di rilettura, infatti, rivelano un uso totalmente innovativo delle fonti storiche. D'altro canto, va aggiunto con riferimento a

quanto già spiegato bene da Gabriele Pedullà in merito alla questione della presenza del tema della concessione della cittadinanza in Machiavelli, e della connessa necessità di avere una popolazione e un esercito numerosi, tali modi svelano una conoscenza acuta delle necessità politiche che sovrastavano ai concetti pre-giuridici e religiosi relativi alla funzione della guerra e della pace nell'antica Roma. Se da una parte infatti Machiavelli dimostra consapevolezza della funzione delle alleanze nella costruzione dei rapporti internazionali e della necessità di porre tali rapporti in relazione con la costituzione politica interna di uno stato; dall'altra, ed è ciò che mi interessa sottolineare in questa sede, lo stesso Machiavelli si concentra su elementi tratti dalla storiografia attinente a quella tradizione pre-giuridica romana, nel tentativo di comprendere e dare sbocco politico e militare a quelle contraddizioni che derivavano dalle difficili relazioni della Firenze del suo tempo con i territori soggetti al suo dominio.

Sono di grande interesse, a questo proposito, alcuni capitoli del secondo libro dei *Discorsi*. Per la precisione, mi sembra emblematico il quarto capitolo del secondo libro dei *Discorsi* (intitolato «Le repubbliche hanno tenuti tre modi circa lo ampliare»): qui, come sappiamo, il Segretario fiorentino espone la sua teoria delle tre diverse forme dell'ampliamento territoriale e indirettamente spiega quelle che, secondo lui, erano le principali tipologie di 'confederazione' messe in atto nell'antichità. Uno di questi modi appare centrale rispetto alla questione qui posta: quello tenuto dai Romani, descritto nei *Discorsi* come: «farsi compagni: non tanto però che non ti rimanga il grado del

comandare, la sedia dello imperio ed il titolo delle imprese». Questo modello di confederazione pensato da Machiavelli, prima ancora di essere influenzato dalla lettura di temi ritrovati in fonti a lui più vicine come l'opera di Biondo e di altri umanisti (come ha spiegato Pedullà), appare sviluppare elementi affrontati direttamente da una precisa tradizione storiografica antica che discute la prassi romana relativa alla stipula dei *foedera*, e in generale relativa ai trattati stipulati da Roma con le nazioni latine e italiche: è infatti una prassi ricordata da Livio, Cicerone e altri scrittori antichi, in funzione nostalgica del *mos maiorum* (Livio) e imperialistica (si pensi al riferimento alla «maiestas» del popolo romano nell'orazione *Pro Balbo* di Cicerone), e con l'obiettivo di giustificare o comunque di spiegare storicamente la conquista di altre nazioni da parte di Roma. Solo brevemente qui, per il momento, in attesa della conferenza e poi degli atti in cui darò maggiori dettagli dell'uso di tale tradizione da parte di Machiavelli, si può ricordare che, oltre al capitolo 4 già ricordato, anche molti altri luoghi del secondo libro appaiono infatti fondati su di una rilettura di questa antica pratica relativa alle paci e ai trattati stipulati da Roma.

Sviluppando queste ed altre tracce storiografiche, Machiavelli impernia la sua personale interpretazione della storia dell'espansione della Roma repubblicana sull'analisi di elementi che oggi gli storici riferiscono appunto al *ius gentium* e al *ius fetiale*, dimostrando di intenderne appieno tanto il valore storico-politico, quanto – modernamente – le reali motivazioni che ne ispiravano la trattazione giuridico-religiosa. È evidente, infatti, la capacità con la quale il Segretario fiorentino, molto al di là delle semplici alterazioni

storiche di alcuni annalisti, coglie gli intenti che a Roma sovrastavano alla regolamentazione dei *foedera*: quell'alleanza di Roma con le popolazioni latine, fondata tuttavia sulla propria posizione di preminenza politica (cioè quel retroterra culturale e politico, sottolineato da antichisti come Giorgio Luraschi e dagli storici del diritto romano); una preminenza che diventerà poi un vero e proprio predominio, pur mascherato dal riconoscimento di certi diritti, già nei trattati stipulati più tardi con il resto delle popolazioni italiche.

Machiavelli, dunque, prima di tutto sulla scorta di una specifica tradizione storiografica che di questi elementi diede una particolare interpretazione, comprese gli effetti che la regolamentazione di questi istituti dal carattere pre-giuridico avevano garantito nella storia di Roma: l'ampliamento della popolazione atta alle armi, quindi la forza militare e le conquiste territoriali, nelle varie fasi di età repubblicana. Un settore della storiografia rispetto al quale – in aggiunta a quanto già spiegato da Pedullà a proposito della parte avuta da questo autore nella formazione del pensiero machiavelliano – occorre ricordare qui anche l'apporto originario fornito da Dionigi di Alicarnasso, *Antiquitates* II 72, il quale attribuisce particolarmente ed esplicitamente all'invenzione del collegio dei Feziali da parte di Numa una parte sostanziale nel permettere ai Romani di ottenere ottimi risultati dalle loro guerre, al contrario di quanto accaduto nel caso dei Greci.

Facendo di questi ingredienti storiografici uno degli aspetti principali della sua dottrina, in secondo luogo, il Segretario fiorentino intese al contempo gli effetti politico-

militari che una politica basata anche su questi istituti pattizi poteva assicurare in ogni età storica (cioè appunto garantire l'ampliamento territoriale e quindi accrescere la forza militare di uno stato). In particolare, enfatizzando un altro elemento essenziale della Storia di Roma, la quale attraverso alleanze con i vinti impediva il coalizzarsi dei nemici, Machiavelli proponeva quindi una 'attualizzazione' della politica romana concernente la concessione di patti politicamente e militarmente squilibrati – in modo non sempre manifesto – da applicare al caso della Firenze dell'epoca.

Rispetto a molti suoi contemporanei, d'altronde, Machiavelli non si diffonde in una lettura tradizionalistica e di carattere erudito/giurisprudenziale del *foedus*. Ad esempio, come è noto, non si concentra sulla necessità di mantenere i vincoli pattizi e anzi fece scandalo affermando la necessità talvolta di fare il contrario. Pur intendendo promuovere gli interessi della patria, inoltre, allarga l'orizzonte storico e geo-politico della sua analisi e non lo usa esclusivamente in una accezione legata alle sole necessità di Firenze, come per esempio fa Poggio Bracciolini, il quale, ancora ad esempio, appare adottare una prospettiva strumentalmente funzionale e utile alla città gliata – peraltro, in continuità con il senso tecnico dell'istituto e del patto – narrando del, e al tempo stesso utilizzando proprio l'elemento del mancato rispetto del *foedus* tra Milano e Firenze da parte di Bernabò Visconti per giustificare apertamente la politica aggressiva praticata dai fiorentini (così, secondo Gary Ianziti, Bracciolini nell'episodio dell'aiuto offerto dal Visconti ai ribelli di San

Miniato nel 1369, *Poggii Historia florentina*, Venetia, apud Jo. Gabrielem Hertz, MDCCXV, p. 36: «Bernabò [...] contra foedus antea cum Florentinis contractum...»). In effetti, Machiavelli allarga appunto l'orizzonte teorico alla funzione dell'uso dei patti e delle confederazioni rispetto al caso di qualsiasi stato (sebbene suggerendo poi, naturalmente, che Firenze adottasse questa prassi), focalizzando dunque la propria analisi storiografica sulla funzione politica e militare più profonda dei *foedera* e del *ius fetiale*, senza affatto limitarsi all'utilità pratica di breve periodo, né solo strumentalmente rispetto all'episodio, come fatto da Bracciolini in quel passo su Bernabò Visconti (pure se, naturalmente, Machiavelli aveva contemplato molti casi simili, quello che gli interessava era una riflessione più generale sulla funzione di tali strumenti e vicende).

Va ribadito, a tal proposito, che l'interesse di Machiavelli rispetto al *ius fetiale* romano NON ha una natura giuridica in senso moderno, bensì appunto politica. Occorre, perciò, registrare questo mio intervento come volto soprattutto a illustrare i dettagli dell'uso libero e privo di intenti tecnico-giuridici dei detti elementi da parte di Machiavelli, e in particolare dell'utilizzo di una tradizione storiografica già fondata a sua volta sulla rilettura di determinati aspetti dei costumi giuridico-religiosi romani ritrovati in Livio, Cicerone, Dionigi e altri storici antichi, quindi in altri scrittori umanisti. Un uso che perciò, si discosta anche dagli intenti filo-aristocratici di Leonardo Bruni (sui quali si vedano le recenti ottime annotazioni di James Hankins). Un uso che, inoltre, come ha spiegato Pedullà, tende a diversificarsi dai tentativi di conciliazione tra la realtà

comunale messi in atto da Francesco Patrizi da Siena, e, infine, a nutrirsi dei rilievi dettagliati di storici antiquari come Biondo, come dimostra la scelta del Segretario fiorentino di enfatizzare gli aspetti politici più radicali ritrovati in questa tradizione storiografica mediante il suo solito metodo di estrapolarne alcuni elementi, rimaneggiandoli, quindi, nei propri testi. Mi preme, tuttavia, rimarcare anche l'interesse di certe osservazioni machiavelliane rispetto, in particolare, alla fondazione del nuovo diritto di guerra internazionale (in quella accezione storicistica fornita da pensatori della seconda metà del secolo XVI come Alberico Gentili), per il quale gli storici propongono notoriamente una datazione al 1494, con l'inizio delle cosiddette Guerre d'Italia.

Resta ovvio che agli occhi di un interprete (il Segretario fiorentino) per il quale non esisteva ancora un diritto internazionale codificato, la questione dei rapporti interstatali e tra i popoli si fondava su di una congerie di elementi che prescindono dalla moderna nozione normativistica di diritto. L'elemento giuridico, insomma, tanto per i Romani quanto per Machiavelli non poteva prescindere da quello politico e storico e viceversa. Per questo motivo si deve ribadire che la questione non può essere osservata da una prospettiva che separi, oppure intenda percepire l'uso che il Segretario fiorentino fece di questi elementi ritrovati nella tradizione storiografica antica come appartenenti all'una o all'altra categoria di politico o di diritto. Le due cose andavano insieme.

L'intenzione di Machiavelli, in altre parole, non era affatto di svolgere una trattazione dettagliata del *foedus*, dei

trattati e in generale del diritto di guerra, come poteva fare e aveva forse fatto prima di lui uno storico antiquario come Biondo, il quale anche, peraltro, come già accennato, aveva sottolineato la stretta connessione tra la politica di alleanze e di concessione della cittadinanza di Roma, sebbene “non facendone una proposta politica per il presente” (Pedullà). Bensì Machiavelli si interessò solo di interpretare storicamente quell’elemento ritrovato nella tradizione storiografica tanto antica quanto a lui più vicina, al fine di fondare una importante componente del suo pensiero politico su di una sua rielaborazione concettuale, attualizzandolo a partire proprio dalla sanzione istituzionale e giurisdizionale tanto dell’ampliamento territoriale quanto della conquista (rispetto alla quale il diritto aveva comunque una funzione importante). La dottrina che ne scaturì sottolinea perciò l’utilità pratica di certi strumenti ritrovati nella tradizione del diritto di guerra romano e in certi istituti pattizi rispetto alla necessità della costruzione di alleanze che assicurassero l’ampliamento territoriale. Strumenti che, al tempo stesso, garantissero ai vinti di evitare una completa distruzione (unica vera alternativa nel pensiero di Machiavelli) e permettessero al conquistatore, rinforzando il carattere inclusivo dello stato, quella assimilazione delle nuove «province» in grado di favorire la propria forza militare e politica (elemento centrale della dottrina politica machiavelliana, nella quale, per la prima volta nella storia del pensiero, politica interna ed esterna rappresentano aspetti interattivi e inseparabili: Pedullà).

Come è ovvio, insomma, non si tratta di attribuire alla pagina di Machiavelli un valore giuridico che non ha, né di

enfaticamente la funzione del diritto di guerra dell'antica Roma nella sua opera, ma solo di mettere più chiaramente in connessione certi elementi del suo pensiero con alcuni aspetti specifici di una tradizione culturale che aveva messo in risalto l'utilità e la funzione di certe alleanze a carattere giuridico-religioso nella storia dell'espansione della Repubblica romana. In più, tuttavia, occorre precisare e sottolineare un punto di grande importanza su cui la critica machiavelliana non si è forse soffermata a sufficienza. Il Segretario fiorentino aveva inteso perfettamente quale fosse stata la funzione storica di certe qualità originarie del Diritto dei popoli romano, insite nel suo aspetto pratico, basato sul senso comune (caratteristiche poi sempre più diluite, forse, dal positivismo e da certi formalismi di età moderna). Come hanno spiegato studiosi come John M. Kelly, in effetti, il *ius fetiale* come poi l'elaborazione del *ius gentium* su cui erano fondati i patti e le alleanze dei Romani, avevano permesso la lenta ma progressiva assimilazione politica di altre nazioni mediante la estensione del diritto romano anche a popoli che originariamente NON avevano la cittadinanza: probabilmente nel corso del III e II sec. a.c., quando il dominio di Roma sull'Italia fu completo, ma la cittadinanza non era appunto ancora estesa all'intera popolazione italiana. Tralasciando le questioni di ordine politico e giuridico di natura meramente normativa, estranee al modo di ragionare dell'epoca (ma in particolare al suo proprio), ed anzi recuperando il carattere originario di questo elemento di carattere pratico connaturato ai primi istituti di diritto di guerra e di diritto internazionale elaborati al tempo della conquista della penisola italiana da parte di Roma, il discorso

svolto da Machiavelli permetteva dunque di superare l'acceso ed erudito, ma sterile dibattito storiografico di natura ideologica sulla cittadinanza praticato da alcuni contemporanei. L'obiettivo era, da una parte, di rimarcare la necessità di uno stato di includere popolazioni straniere all'interno del suo sistema sociale e politico, con qualsiasi mezzo giuridico-politico praticamente 'praticabile' (uso volutamente un gioco di parole), secondo quel «caratteristico approccio anti-ideologico alla realtà [di Machiavelli], capace di adeguare le risposte al mutare dei tempi e delle situazioni» (Francesco Bausi); e dall'altra, di ricondurre il caso fiorentino contemporaneo a vicende (quelle della Roma delle origini) che avrebbero dovuto esemplificare in parte – almeno dal punto di vista dell'autore – le modalità dell'evoluzione della struttura geo-politica della Toscana del suo tempo, le quali, come ha spiegato Mikael Hörnqvist, secondo la teoria di *Discorsi* II 4, per essere efficaci avrebbero dovuto lentamente ma inesorabilmente rifarsi appunto al caso romano, ovvero al metodo del «farsi compagni» e del tenere al contempo per sé «la sedia dello imperio».

Come è stato spiegato da vari studiosi, infatti, è utile e necessario mettere bene in evidenza le connessioni che la rilettura di questa tradizione ha nei testi machiavelliani con la condizione politica contemporanea di Firenze. Questo quadro, in particolare, va visto in relazione con le proposte di riforma avanzate da Machiavelli per dare una soluzione alle ribellioni delle città soggette all'autorità di Firenze (Pisa e Arezzo, centri urbani ai cui abitanti non era appunto concessa la cittadinanza fiorentina), oltre che con gli accenni

fatti negli stessi *Discorsi* alla politica di espansione fiorentina in Toscana. E ciò, mi permetto di aggiungere io, va fatto in parallelo all'analisi della tradizione statutaria che regolava i rapporti della città con il suo territorio. Come ho già scritto altrove, si può supporre che la proposta di Machiavelli potesse indicare una possibile soluzione nella questione della revisione degli statuti locali e dei trattati concessi da Firenze alle comunità soggette al suo controllo. Lo indica la chiara ed esplicita menzione di quei «capitoli» (gli statuti) in un passo del *Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati* mediante i quali si potevano 'riguadagnare' con benefici: «Cortona, Castiglione, Il Borgo, Foiano», sulla scorta di quanto fatto dai Romani con i «Lanuvini, Aricini, Nomentani, Tusculani e Pedani, de' quali [appunto] nacque da' Romani un simile giudizio». Uno scritto minore, databile al 1502, nel quale notoriamente la questione trattata successivamente nei *Discorsi* era anticipata e riferita in modo puntuale e specifico al caso della Valdichiana. Si tratta di un punto che resta ancora da indagare ulteriormente ed è questo forse il principale tra quelli che la mia ricerca vuole sottolineare e indagare.

La ricostruzione in chiave storico-politica di certi istituti del *ius belli* romano rappresenta perciò emblematicamente il tentativo da parte di Machiavelli di risolvere quelle contraddizioni in cui, a detta di molti studiosi, spesso egli stesso cade nei *Discorsi* quando si passa dal caso di Roma a quello di Firenze rispetto al tema della concessione della cittadinanza a sudditi e alleati di città e province toscane anticamente libere e ora sotto il controllo della Repubblica: un tentativo che pare fondato sulla elaborazione di un

processo di inclusione nel quale non si escludevano soluzioni pragmatiche intermedie rispetto all'obiettivo teorico esemplato sul modello romano della concessione della cittadinanza vera e propria, fondate su concessioni di benefici, premi e concessioni quale passo concreto verso una assimilazione più efficace e reale nelle strutture socio-politiche dello stato; soluzioni che non possono essere ritenute completamente estranee a quello schema di pensiero pratico già sviluppato da Machiavelli rispetto al caso dei contadini toscani (sudditi di Firenze) reclutati nella milizia fiorentina del 1506, quando Niccolò ancora possedeva il suo posto in Cancelleria (si veda il mio *Un Segretario militante*, pp. 23-24, 327-37 e 383-86), pur se nei *Discorsi* differiscono nella loro formulazione teorica. Ecco perché è importante tenere tale elemento in considerazione. Quando si trattava di affrontare questo tema specifico, d'altronde, non si deve scordare che il carattere pratico originario del *ius gentium* di cui ho parlato, ben si adattava ad una realtà nella quale la appartenenza cittadina si caratterizzava di una congerie di istituti giuridici nutriti anche di diritto consuetudinario comunale, declinabile in varie sfumature di cittadinanza, e in particolare quella *attiva* (cioè con diritto di voto e partecipazione nei consigli cittadini) e quella *passiva* (senza il diritto di voto e di sedere nei consigli); una realtà geopolitica, da un altro punto di vista, in cui esisteva una diversificazione dei rapporti dei territori toscani con la capitale Firenze, ad esempio nei livelli di autonomia di governo locale, che la assegnazione di capitoli e statuti locali aveva generato nel corso dei secoli. Anche per questo carattere pratico originario del *ius gentium*, come è stato

vagamente suggerito da Luca Mannori, il Livio dei «tria genera foederum» rappresentava un modello capace di consentire ‘a senso’ una applicazione concreta al caso fiorentino dei modelli di conquista e/o aggregazione di territori originariamente liberi. Agli occhi di Machiavelli, infatti, il punto centrale era quello di pragmaticamente trovare un modello di appartenenza e partecipazione alla compagine statale o federativa (non solo la cittadinanza dunque, almeno intesa nel senso in cui la concepiamo univocamente oggi secondo il diritto moderno), senza escludere perfino quelle modalità di applicazione ‘fraudolente’ da lui stesso discusse nei *Discorsi*; modalità che lasciassero, insomma, immaginare una partecipazione degli alleati su base paritaria e che, tuttavia, inclinassero verso una subordinazione politica reale rispetto a chi teneva la «sedia dello imperio» (ovvero, con Cicerone, la «maiestas» che spettava al popolo romano), e che perciò, rispetto in particolare al caso specifico suggerito per il caso fiorentino, puntassero solo in linea teorica, e nel lungo periodo, a una completa assimilazione giuridica e integrazione degli abitanti dei territori acquisiti e/o federati mediante la concessione della cittadinanza vera e propria a quelle province che si erano dimostrate fedeli, partendo invece piuttosto da concessioni e benefici di vario genere legati alla stipula e alla rinegoziazione dei *foedera/capitoli* come primo passo pragmatico.

Per concludere, si vede bene come Machiavelli fosse giunto alla formulazione di tesi e obiettivi innovativi partendo da una lunga storia di letture e riletture e sugli usi e riusi storici di una certa tradizione romana: prima da parte di

quella stessa tradizione storiografica romana che si fece interprete dell'antica pratica del *ius fetiale* e dei rituali di guerra e alleanza, e poi da parte di una tradizione umanistica. Alla fine di questo percorso, Machiavelli operò una sorta di riscrittura storiografica libera di elementi raccontati e già appunto riletti da altri scrittori dell'antica prassi pre-giuridica/religiosa della Repubblica romana. Una storia di scritte e riscritture storiografiche che dimostra come per fini politici o culturali quella antica tradizione fosse alternativamente vista, trasformata o riutilizzata dagli storici – finché Machiavelli non portò questo processo ad uno stadio ulteriore, scorporando e rimontando i pezzi di questo mosaico, come lui usava fare, per dimostrare le sue tesi politiche. Senza dimenticare, infine, che le modalità impiegate dal Segretario fiorentino sfociarono nella metodologia 'storicistica' con cui Gentili affrontò il problema del diritto di guerra.

Тимофей Александрович Дмитриев

*Научно-исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Москва*

**ГРАЖДАНСКИЙ РАЗДОР В «ИСТОРИИ ФЛОРЕНЦИИ»
МАКИАВЕЛЛИ: БЛАГО ИЛИ ЗЛО ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ?**

Ясное осознание конфликта и борьбы противоположных начал как неотъемлемого момента политического составляет одно из важнейших достижений политической мысли Никколо Макиавелли. В основе политической жизни Града Земного всегда лежит конфликт; он составляет неустранимый момент политического как тех вещей, которые люди могут делать только сообща, а не поодиночке. В «Рассуждениях» Макиавелли выдвигает и защищает тезис, согласно которому своей свободой Римская республика была обязана конфликту между знатью и плебсом, патрициями и плебеями. «Те, кто осуждает беспорядки между нобилиями и плебсом, – пишет Макиавелли, – по-моему, порицают самую причину римской вольности, обращая больше внимания на внешнюю сторону этих беспорядков, а не на их благотворные последствия; они не видят, что в любой республике существует два противоборствующих стана, народ и знать (*due umori diversi, quello del popolo e quello de' grandi*), и что все законы, охраняющие свободу рождаются из это-

го противостояния» (*Discorsi I, 4, § 5*)¹. В этом пункте Макиавелли драматическим образом расходится с гуманистической точкой зрения, представленной в сочинениях как древних римских историков, так и флорентийских интеллектуалов-гуманистов. Последние, включая Гвиччардини, считали, что раздоры между отдельными фракциями неизбежно приведут республику к гибели, и потому не находили для них места в хорошо устроенной республиканской форме правления. Настаивать, как это делал Макиавелли, на мнении, что гражданские междоусобицы в Риме «заслуживают величайшей похвалы», означало тем самым идти на разрыв с одним из основополагающих положений флорентийского гуманизма. Макиавелли, однако, подобная постановка вопроса совершенно не смущала, и потому уже в «Рассуждениях на первую декаду Тита Ливия» мы находим настоящий панегирик раздорам как гарантии политической свободы гражданской общины Рима. Как подчеркивает Макиавелли, именно существование в городе влиятельных политических сил с несовпадающими интересами, ни одна из которых не обладает безусловным превосходством над другой, создает благоприятные предпосылки для сохранения политической свободы и величия города.

Однако в «Истории Флоренции» этот тезис подвергается существенной смысловой корректировке. Здесь Макиавелли высказывает мысль, что гражданские распри в Древнем Риме привели к падению республики и к при-

¹ *Макиавелли Н.* Рассуждения о первой декаде Тита Ливия / Пер. с ит. М.А. Юсима // *Макиавелли Н. Государь.* М.; СПб., 2006. С. 27-28.

ходу к власти Цезаря, тогда как намного более пагубные распри, характерные для Флорентийской республики, способствовали укреплению республиканских порядков. Задача доклада – показать, как эта идея политической мысли Макиавелли преломляется в его политической истории флорентийской республики в «Истории Флоренции». В центр доклада будет поставлено истолкование двух взаимосвязанных тезисов, высказанных Макиавелли в предисловии к этому трактату. Первый из них гласит, что «если в какой-либо республике имели место примечательные раздоры, то самыми примечательными были флорентийские», а второй – «Ничто не свидетельствует о величии нашего города так явно, как раздиравшие его распри, – ведь их было вполне достаточно, чтобы привести к гибели даже самое великое и могущественное государство. А между тем наша Флоренция от них словно только росла и росла»².

² *Макиавелли Н.* История Флоренции / Пер. с ит. Н.Я. Рыковой // Макиавелли Н. Государь. М.; СПб., 2006. С. 365, 366.

Timofey A. Dmitriev

*National Research University High School of Economics,
The Moscow School of Social and Economic Sciences*

THE CIVIL DISUNION IN MACHIAVELLI'S "FLORENTINE HISTORIES": THE GOOD OR THE EVIL FOR THE REPUBLIC?

A clear awareness of the conflict and antagonism between the adversary elements as an integral part of the political process is one of the most important achievements of Niccolò Machiavelli's political thought. The political life of the Earthly City is always based on conflict; it is an irreplaceable moment of the political process as those things that can do people only together but not alone. In his *Discourses* Machiavelli puts forward and defends the thesis that the Roman Republic owes its freedom to the conflict between the nobles and the plebs, the patricians and the plebeians. "Those who damn the tumults between the nobles and the plebs, – writes Machiavelli, – blame those things that were the first cause of keeping Rome free, and that they consider the noises and the cries that would arise in such tumults more than the good effects that they engendered. They do not consider that in every republic are two diverse humors, that of the people and that of the great (due umori diversi, quello del popolo e quello de' grandi), and that all the laws that are made in favor of freedom arise from their disunion (disunione), as can easily be seen to have occurred in Rome"¹.

¹ *Machiavelli N. Discourses on Livy / Transl. by H. Mansfield and N. Tarcov. Chicago, 1998. P. 16.*

At this point Machiavelli dramatically differs from the usual humanistic view, presented in the writings of both ancient Roman historians and Florentine humanist intellectuals. These latter, with Guicciardini among them, believed that factional disunion would inevitably lead to the death of the republic, and therefore did not find a place for it in a well-organized republican form of government. To insist, as Machiavelli did, on the opinion that civil disunion in Rome “deserves the greatest praise”, meant to break with one of the fundamental provisions of Florentine humanism. Machiavelli, however, was not embarrassed by such an approach, and therefore in the *Discourses* we find already a real eulogy to disunion as a guarantee of political freedom of the civil community in Rome. As Machiavelli emphasizes, it is the existence in the city of influential political forces with different interests, none of which has absolute superiority over the other, creates favorable prerequisites for preserving the political freedom and greatness of the city.

However, in the *Florentine Histories* this thesis was significantly transformed. Here Machiavelli suggests that the civil disunion in Rome led to the fall of the republic and the rise of Caesar, while the much more pernicious antagonism of the Florentine Republic helped to strengthen republican order. The purpose of this paper is to show how this idea of political thought of Machiavelli is refracted in his political history of the Florentine Republic in the “Florentine Histories”. The proposed report will focus on the interpretation of the two interrelated theses expressed by Machiavelli in the preface to this treatise. The first one holds that “If in any other republic there were ever notable divisions, those of

Florence are most notable”; and the second one – that “no other instance appears to me to show so well the power of our city as the one derived from these divisions, which would have had the force to annihilate any great and very powerful city. Nonetheless ours, it appeared, became ever greater from them”².

² *Machiavelli N. Florentine Histories* / Trans. by L. F. Banfield and H. Mansfield. Princeton, 1988. P. 6, 7.

Марина Игоревна Дмитриева

*Институт истории Санкт-Петербургского
государственного университета*

СИЕНА В ТРУДАХ МАКИАВЕЛЛИ И ГВИЧЧАРДИНИ

На всех этапах средневековой и ренессансной истории политическое развитие и государственное устройство Сиены сильно зависело от внешних факторов, самым важным из которых было ее экономическое, военно-политическое и культурное соперничество с Флоренцией. Поэтому обращение к сиенской истории трудно представить без «взгляда» со стороны ее ближайшей соседки – Флоренции. В центре нашего внимания – сведения о Сиене двух самых знаменитых политических писателей, историков и флорентийцев Никколо Макиавелли и Франческо Гвиччардини. Их основные труды «История Флоренции» и «История Италии», охватывающие собой флорентийскую и итальянскую историю от начала Средневековья до конца XV в. (Макиавелли) и значительную часть Итальянских войн (Гвиччардини), содержат немало сведений о Сиене.

Очевидно, что большинство замечаний обоих авторов по истории Сиены относятся к периоду Возрождения. Политическая жизнь Сиены этого времени строилась на конкуренции народных «партий» или «монти» (*monti*), состоявших из бывших членов народных правительств XIV в.: богатых пополанов – Девяти Синьоров (1287–1355), цеховой верхушки – Двенадцати Синьоров (1355–1368), рядовых членов цехов – Реформаторов (1368–

1385), а также их сторонников и потомков. В правительстве, сменившем Реформаторов, впервые участвовали «пополари» (ремесленники и наемные рабочие, не входившие в цехи), которые стали последней из народных партий Сиены. Таким образом, четыре народные партии: «новески», «додичини», «рифформатори» и «пополари», а также нобили – «джентилуomini» (не участвовавшие в правительствах до середины XV в.) стали основой политической системы Сиены эпохи Возрождения. Эта партийно-коалиционная система долгое время сдерживала становление синьории Петруччи (1487–1524), которая сложилась здесь сравнительно поздно и оказалась недолговечной.

Замечания Макиавелли и Гвиччардини касаются специфики внутривполитической жизни Сиены, создают образ родоначальника синьории – Пандольфо Петруччи и характеризуют период синьории в Сиене (1487–1524 гг.) в целом. В обеих историях речь идет, по большей части, о «внешней» политике Сиены: ее дипломатии и участии в войнах, причем из этих замечаний вырисовывается, прежде всего, ее региональный масштаб.

«История Италии» Гвиччардини создает более детальный политический образ Сиены. В начале Итальянских войн (1494–1559 гг.) Сиене удается лавировать между разными политическими силами, отстаивая свои интересы. Антифлорентийская направленность (о которой постоянно пишут оба автора) заставляет ее поддерживать Пизу, восставшую против Флоренции, однако вслед за решением «пизанского вопроса», папа и Неаполь принуждают ее к миру с Флоренцией, которой

Сиена передает Монтепульчиано (1512 г.). После изгнания Петруччи (1524 г.) сиенская республика на длительное время попадает под испано-имперское влияние. Во время осады Флоренции (1529–1530 гг.) она снабжает оружием и продовольствием имперское войско. События Итальянских войн после 1534 г. (как и участие в них Сиены) остаются «за кадром» масштабного повествования Гвиччардини. Как известно, в итоге Сиенской войны (1553–1555 гг.) Сиена окончательно утратила независимость и свой республиканский статус и вошла в государство Козимо I Медичи.

Сведения о Сиене, которые содержат исторические труды Макиавелли и Гвиччардини, объясняют специфику взаимоотношений двух республик, определяют положение Сиены в политической системе Италии конца XV – первой половины XVI в., демонстрируют масштаб ее политики и ее возможности на пути становления Ренессансного государства.

Marina. I. Dmitrieva

Istituto di storia dell'Univerista' Statale di San Pietroburgo

SIENA NELLE OPERE DI MACHIAVELLI E GUICCIARDINI

La storia di Siena medievale e rinascimentale dipendeva dai fattori esterni, tra i quali la rivalità (economica e militare, politica e culturale) con Firenze era una di più importanti. Pertanto, il ricorso alla storia senese è difficile immaginare senza «colpo d'occhio» da parte della città più vicina – Firenze. L'autore di questo rapporto fornisce le informazioni su Siena dalle opere di Niccolò Machiavelli e Francesco Guicciardini – famosi scrittori politici e storici del Rinascimento. «Istorie fiorentine» e «Storia d'Italia» abbracciano la storia italiana dall'inizio del Medioevo fino alla fine del XV secolo (Machiavelli) e una parte significativa delle Guerre italiane (Guicciardini) e contengono molte informazioni sulla città di Siena.

Ovviamente, la maggior parte delle osservazioni di entrambi gli autori sulla storia di Siena concerne il periodo del Rinascimento. La vita politica di Siena di questo periodo è stata costruita sulla concorrenza dei “monti” – gruppi sociali e politici o partiti, creati dai membri dei governi del popolo, i loro sostenitori e i discendenti (“noveschi”, “dodicini” “riformatori” e “popolari”). Durante la seconda metà del XIV e tutto il XV secolo, i quattro “monti” formarono tutti i governi di coalizione. Per lungo tempo hanno frenato la formazione della Signoria (1487–1524). Il potere della famiglia Petrucci si è sviluppato tardi e si è rivelato di breve durata.

Le note dei nostri autori riguardano la specificità della vita interiore della città di Siena, creano l'immagine di Pandolfo Petrucci e caratterizzano il suo potere. Entrambe le Storie raccontano, per la maggior parte, la politica «esterna» di Siena, la sua diplomazia e e la sua partecipazione alle guerre, e queste osservazioni mostrano, prima di tutto, scala regionale della sua politica.

La “Storia d'Italia” di Guicciardini crea un'immagine politica di Siena più dettagliata. All'inizio delle Guerre italiane (1494–1559), la città riesce a destreggiarsi tra le diverse forze politiche per difendere i propri interessi. Quando Pisa si ribellò contro Firenze, l'ostilità verso Firenze costrinse Siena a sostenere Pisa, ma dopo aver completato il problema di Pisa, Siena ha concluso la pace con Firenze e ha dato la città di Montepulciano (1512). Dopo l'espulsione di Petrucci (1524), Siena è caduta sotto l'influenza della Spagna e Dell'Impero. Durante L'assedio di Firenze (1529–1530), Siena ha fornito le armi all'esercito imperiale. Eventi delle Guerre italiane dopo il 1534, non sono entrati nella narrazione di Guicciardini. Come si sa, dopo la fine della Guerra di Siena (1553–1555) la città ha perso la sua indipendenza ed è entrata a far parte dello Stato Mediceo.

Informazioni su Siena, che contengono le opere storiche di Machiavelli e Guicciardini, in gran parte spiegano la specificità del rapporto di due repubbliche, definiscono la posizione di Siena nel sistema politico dell'Italia alla fine del XV – prima metà del XVI secolo, dimostrano le dimensioni la scala della sua politica e la sua capacità di diventare uno Stato del Rinascimento.

Paolo Carta

Università di Trento

**L'INCIPIT DELLA STORIA D'ITALIA E L'UNIVERSO TEORICO
E STORICO DEL DIBATTITO TRA MACHIAVELLI E
GUICCIARDINI. IL RITRATTO DI LORENZO DE' MEDICI**

Com'è noto all'origine della *Storia d'Italia* ci furono i *Commentari della luogotenenza*, stesi da Guicciardini nel 1534. L'incipit della *Storia* fu dunque una travagliata rielaborazione successiva alla germinazione iniziale del progetto. Quei *Commentari*, inizialmente pensati come sorta di autobiografia del luogotenente dell'esercito pontificio, finirono per lasciare il posto alla *Storia d'Italia*, l'autobiografia di quanti, come lui, erano nati e cresciuti nel mezzo delle guerre. Come gli scrisse Machiavelli nel '26, abbozzando in poche righe un ritratto della generazione alla quale entrambi appartenevano: «Sempre, mentre che io ho di ricordo, o e' si fece guerra o e' se ne ragionò. Hora se ne ragiona: di qui a un poco si farà et, quando la sarà finita, se ne ragionerà di nuovo, tanto che mai sarà tempo a pensare a nulla, et a me pare che questi tempi faccino più per la faccenda vostra, che i quieti». L'incipit con cui Guicciardini dà inizio alla sua *Storia* riparte proprio dall'idea di «quiete», una sorta di artificiosa rilettura del passato, com'è stato osservato, che per la penisola si chiudeva definitivamente nel 1492, con la scomparsa di Lorenzo il Magnifico. Quel breve accenno sul ruolo ricoperto da Lorenzo nella politica estera, presentato in apertura della *Storia d'Italia*, è tuttavia puntellato da alcune espressioni che tentano di definire

giuridicamente il suo potere all'interno della città di Firenze. Le diverse redazioni dell'incipit mettono in evidenza come Guicciardini dovette pensare a lungo a quale aggettivo utilizzare, per non celare dietro un giudizio positivo, l'esito di una indagine sulle peculiarità del potere mediceo, che prima da avvocato, poi da storico, nelle *Storie fiorentine*, quindi da teorico e 'costituzionalista', nel *Dialogo del reggimento di Firenze*, aveva portato a compimento in vent'anni. La formazione giuridica di Guicciardini, insomma, riemerge costantemente in quei momenti in cui egli tenta di definire storicamente una particolare forma di potere: anche quando si giudichino positivamente gli effetti ottenuti in politica estera da Lorenzo, il giurista doveva ammettere che quel governo aveva pur sempre pervertito gli ordini della repubblica. Ripercorrere i momenti di questa indagine sulla figura di Lorenzo, così come presentata da Guicciardini nei suoi scritti, ci aiuta a comprendere perché la *Storia d'Italia* fu letta immediatamente dopo la sua prima stampa postuma come lo scritto di un giurista e dunque come un deposito di casi particolarmente utili per l'evoluzione del pensiero giuridico della prima età moderna. Del resto era stato lo stesso Guicciardini a introdurre se stesso nella *Storia d'Italia* come «dottore di legge». Questi momenti rivelano qualcosa in più di quel 'principato' di cui si era occupato Machiavelli, osservato dalla prospettiva di un giurista. Si può quasi dire che l'indagine su Lorenzo, confluita e risolta definitivamente nelle poche, ma significative righe a lui dedicate nell'incipit della *Storia d'Italia*, si presenti come una sorta di piccolo trattato guicciardiniano sul principe. Un principe, che al suo sguardo, così come del resto a quello

machiavelliano, doveva apparire niente più che un vero e proprio tiranno, sia pure di specie particolarissima. Il contributo che intendo presentare tratta di queste specificità, che nella *Storia d'Italia*, la cui stesura è contemporanea all'ascesa di Cosimo, si presentavano di straordinaria attualità.

Олег Федорович Кудрявцев

*Московский государственный институт
международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации*

**НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ
ХРОНОГРАФИИ В ИХ СООТНЕСЕНИИ С ИСТОРИОГРАФИЕЙ
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ**

Несомненно, между тем, как писалась история в средние века и в эпоху Возрождения, заметна существенная разница, хотя, похоже, немного преувеличенная исследователями. Различия видны и в манере подачи материала, и в изображении исторических событий и персонажей, и в глубинных мировоззренческих установках авторов.

О чем бы ни повествовал средневековый хронист, например, Салимбене де Адам (Пармский)⁵, он всегда пытается соотнести рассказанное им с выдержками из Священного Писания или известными ему сочинениями святых отцов, используя их то ли как поясняющий комментарий к описываемым событиям, то ли самими этими событиями иллюстрируя сакральные тексты. Для ренессансных историографов – Макиавелли и Гвиччардини⁶ в частности – подобное соотнесение начинает утрачивать смысл, ибо мирская жизнь и история приобретают само-

⁵ Салимбене де Адам. Хроника / Перевод В.Д. Савуковой и др. М., 2004.

⁶ Макьявелли Н. История Флоренции / Перевод Н.Я. Рыковой. Л., 1973; Гвиччардини Фр. История Италии / Перевод и подготовка издания М.А. Юсим. М., 2018. Т. 1-2.

стоятельный интерес, превращаясь в сферу преимущественной ответственности человека. Соответственно они не рассматриваются уже как поле битвы противоположных метафизических начал, в которой человек выступает объектом борьбы и ее орудием. Ибо сам человек воспринимается как субъект, вершитель истории, который в противоборстве с фортуной, или миром подвижного личного бытия, обнаруживает свою доблесть.

В средневековых исторических сочинениях человеку, конкретному человеку, уделяется мало внимания. Не всегда даже указывается его имя, как в сочинении Гильбера де Ланноа⁷. Ибо для средневековых историописателей гораздо важнее его социальное положение и в его характеристиках сообщается, как мы видим в Хронике Салимбене, о соответствии или несоответствии тому набору нравственных достоинств, которые полагается ему иметь по статусу. О каких-то особых чертах конкретного человека речи нет. В словесных портретах ренессансных историков мы их находим, пусть и в несколько схематизированном виде. Они сообщают не только о нравственных чертах того или иного лица, используя стандартный набор добродетелей и пороков, но и о его привычках, манере поведения и подчас о внешнем облике. Более того, следуя мировоззренческим установкам своей культуры, в том или ином персонаже умеют найти, в частности Макиавелли, черты «универсаль-

⁷ *Lannoy Gh. de. Oeuvres de Ghillebert de Lannoy, voyageur, diplomate et moralist / Ed. par Ch. Potvin, J.C. Houzeau. Louvain, 1878.*

ного человека»⁸, идеал которого провозгласила гуманистическая мысль эпохи.

Вместе с тем, будем честны и признаем, что ренессансное историописание по наследству сохранило некоторые реликтовые черты средневековой хронографии, в частности ссылки на трансцендентную подоплеку иных исторических явлений, их символический или сакральный смысл, использование в портретных описаниях исторических фигур набора мало выразительных этических признаков – добродетелей и пороков, – доставшихся от прошлых эпох.

⁸ *Макьявелли Н.* Указ. соч. С. 339.

Oleg F. Kudryavtsev

*Moscow State Institute of International Relations
(MGIMO)*

PECULIARITIES OF MEDIEVAL CHRONOGRAPHY IN COMPARISON WITH RENAISSANCE HISTORIOGRAPHY

Without any doubt, there is an essential distinction between the character of history writing in Middle Ages and in the Renaissance, however it is often exaggerated by the scholars. We can notice the differences in a manner of historical presentation, in depiction of events and persons as well as in the profound principles of world outlook of authors.

Whatever a medieval chronicler, for example Salimbene de Adam, was narrating, he always tried to correlate his narration with Holy Scripture or with works of ecclesiastical fathers available for him. He used all these texts as a kind of commentary to depicted stories or along with these stories as the illustration to the sacred texts. For Renaissance historiographers – Machiavelli and Guicciardini in particular – such correlation is lacking of sense, because the secular life as well as the history acquires an interest per se as an area of a principal responsibility of a man. And as a consequence they are not already regarded as a battle-field of the opposite metaphysical principles, in which a human being is an object of struggle and at the same time its mean. For a man himself is recognized as the subject and the actor of history, who proves his virtue in the fight which the fortune. the personification of continuous change.

The medieval historical works pay little attention to the concrete man. Sometimes they even don't mention his name, as in the work of Ghillebert de Lannoy. For medieval writers it is more important to indicate the social rank of a person and, as we can notice in Salimbene's Chronicle, they mark only his conformity or non-conformity to the ethical virtues which he ought to have in accordance with his social rank. And there is no word about his concrete personal features. In verbal portraits made by Renaissance historians we find these features. They not only tell about ethical characteristics of a person using a standard list of virtues and vices, but also describe his habits, behaviour and even his appearance. Moreover, in accordance with the cultural preferences of the epoch they can see in one or other person traits of "uomo universale", the ideal man of the Renaissance.

At the same time we must acknowledge that the Renaissance historiography still preserved some surviving features of medieval chronography, such as references to the transcendent reasons of historical events, their symbolic or sacred interpretation, the portrayal of persons by mean of less significant ethical characteristics, inherited from the past.

Emanuele Cutinelli-Rendina

Université de Strasbourg

**MACHIAVELLI E GUICCIARDINI DALLA CRONACA
MUNICIPALE ALLA STORIA NAZIONALE**

In tutte le grandi storie della storiografia moderna – dalla pionieristica *Geschichte des neuen Historiographie* di Eduard Fueter alla sintesi che Benedetto Croce mise in appendice alla sua *Teoria e storia della storiografia* – Machiavelli e Guicciardini appaiono a giusto titolo come gli inauguratori di un nuovo modo di concepire il racconto storiografico, gli autentici artefici di uno stile espositivo e di un'impostazione pragmatica tutta attenta ai fattori politici, che la storiografia moderna prenderà a modello. Ed è giudizio che, pur potendo essere sfumato o temperato, appare nell'insieme difficile da revocare in dubbio, trovando peraltro piena conferma nella prima ricezione di questi autori. In effetti, già alla metà del XVI secolo venne percepita la straordinaria novità rappresentata dall'opera dei due sommi storici fiorentini, e in particolare dalla *Storia d'Italia* di Guicciardini, considerata un irraggiungibile vertice di scrittura storiografica, al quale solo i classici dell'antichità potevano essere messi accanto (era questo, com'è noto, il giudizio di Jean Bodin).

Quanto mai netto infatti appariva già ai primi lettori europei lo scarto che si poteva avvertire tra le opere di Machiavelli e di Guicciardini e quelle di chi prima di loro aveva scritto di storia, in Italia e altrove. Quel che distingueva i loro capolavori storiografici – ci si riferiva

soprattutto alle *Istorie fiorentine* per Machiavelli e alla *Storia d'Italia* per Guicciardini, che rimase per secoli il suo unico testo storiografico conosciuto – era lo sguardo singolarmente acuto con cui venivano analizzati i fattori politici della storia, per cui la trama degli eventi diplomatici e militari, che occupavano la parte maggiore delle loro narrazioni, era sempre illuminata da una logica superiore che ne spiegava la necessità intrinseca. Ma di particolare novità era anche la prospettiva sovramunicipale nella quale entrambi gli storici svolgevano il loro racconto. Non solo la *Storia d'Italia* di Guicciardini, ma le stesse *Istorie fiorentine* machiavelliane, a dispetto del titolo, indagavano il passato fiorentino alla luce della complessa rete di rapporti che la Città del giglio aveva tessuto tra XIV e XV secolo con le altre entità politiche italiane, ed anche europee (la Francia e l'Impero, soprattutto). E proprio per questo, peraltro, le *Istorie* machiavelliane si aprivano con un primo libro che era di fatto, come Machiavelli stesso lo definiva, un trattato di «storia universale», ossia una storia dell'Italia medievale dalla caduta dell'Impero romano in poi, e quindi un racconto in grado di fare da sfondo generale e dar senso alla storia della città di Firenze. Dunque, per Machiavelli come per Guicciardini si hanno per la prima volta racconti storici dalla prospettiva e dal respiro autenticamente 'nazionali'. Il che era quel che meglio si adattava alla nuova Europa delle nazioni, che stava ormai prendendo coscienza di sé nel corso del Rinascimento.

E nondimeno, nonostante questa dimensione che le rendeva esemplari per la moderna storiografia europea, tanto le *Istorie fiorentine* di Machiavelli quanto la *Storia d'Italia*

di Guicciardini costituivano il traguardo di un lungo percorso di apprendistato storiografico per entrambi gli autori, i quali avevano alle spalle una serie di meditazioni teoriche e di cimenti di scrittura storiografica di cui il lettore europeo del XVI secolo non poteva essere al corrente. All'epoca, e ancora in anni relativamente recenti, si faceva risalire la novità di quei testi piuttosto alla lezione dell'antichità classica, in Italia ascoltata meglio e più a lungo che altrove. In realtà le cose stavano alquanto diversamente, e la lezione dei classici antichi, pur indubbiamente operante, entrava in altro modo e in altre proporzioni nella genesi della storiografia machiavelliana e guicciardiniana.

Questa nostra relazione intende illustrare la complessità del percorso intellettuale dei due sommi storici fiorentini, i quali iniziano a scrivere di storia all'insegna della tradizionale prospettiva di storia cittadina di orizzonte municipale. Ma sottolineato questo punto, va anche osservato che nella comune prospettiva di partenza, sono ben significative le differenze dei rispettivi percorsi, proprio perché la tradizione storiografica fiorentina era alquanto diversificata al suo interno.

Per Machiavelli è l'ambiente della Cancelleria della Repubblica fiorentina che determina la natura e le caratteristiche delle sue prime prove propriamente storiografiche. Ci fu dapprima, com'è noto, l'incarico di scrivere una storia ufficiale della città, basandosi sul materiale e la documentazione che la stessa Cancelleria produceva. Era un incarico del tutto consueto per i Cancellieri della Repubblica, da Leonardo Bruni fino a Bartolomeo Scala. Ricevuto tale incarico nei primi anni del

suo servizio in Cancelleria, Machiavelli non portò a termine il suo compito, né ci è giunto alcun suo testo compiuto di una certa ampiezza; rimangono però diverse testimonianze del suo lavoro preparatorio, in particolare appunti e spogli di notizie che poteva trarre dagli archivi della Cancelleria. Ma a questo lavoro, che doveva essere una storia della Firenze contemporanea che si riprendesse il filo lì dove si era fermata quella di Bracciolini (l'altra di Bartolomeo Scala era rimasta inedita), si può ricondurre in qualche modo una cronaca cittadina, il *Decennale*, che è un poemetto in terza rima, in cui Machiavelli si rifaceva alla tradizione popolare degli araldi della Signoria, i quali mettevano in versi i principali eventi storici che avevano interessato la città in un dato periodo, generalmente piuttosto limitato. Espressione quindi di una tradizione di poesia popolare, o canterina, come anche veniva definita, il *Decennale* era al tempo stesso il prodotto di uno specifico ambiente culturale e politico esistente in seno all'amministrazione cittadina. In tal senso il *Decennale* – che noi chiamiamo «primo» per distinguerlo da un secondo dello stesso genere rimasto però incompiuto – era anche un testo 'militante', di intervento politico a sostegno della linea del nuovo Gonfaloniere perpetuo di Firenze, Piero Soderini. La vicenda alquanto controversa della prima diffusione del poemetto testimonia perfettamente la finalità del testo.

Dunque agli esordi di Machiavelli storiografo ci sono due distinte ma non divaricate tradizioni: quella della storiografia ufficiale che risaliva alle storie cittadine di Bruni e di Bracciolini, e non poteva che essere in latino; e quella di origine canterina, in volgare e in versi, dall'andamento assai

meno solenne e tendente all'espressione alquanto corposa e popolare. Negli anni spesi alla Cancelleria Machiavelli si cimenta in entrambi i generi, ma nel primo si arresta ai primi appunti e ai schemi preparatori; mentre nel secondo produce un poemetto che oltre a essere il suo primo testo a stampa (1506), dovette portargli una certa reputazione, nonché qualche fastidio da parte dei suoi nemici politici.

Le *Istorie fiorentine* nasceranno proprio dal prolungamento di questo impegno di storiografo pubblico, quando Machiavelli – dopo la catastrofe del 1512, e la lenta riconquista della fiducia dei nuovi signori di Firenze – riuscirà a trovare la via per una committenza ufficiale. Il che avverrà tra il 1519 e 1520, prima con la *Vita di Castruccio Castracani* e poi, appunto, con le *Istorie fiorentine*. Il punto di partenza – tutto interno alla prospettiva cittadina, come la committenza esigea – viene però superato *in itinere* grazie alla costruzione di un originale discorso storiografico in seno all'opera, per cui le *Istorie fiorentine* sono anche una prima storia 'politica' del medioevo italiano, con una ben precisa opzione valutativa, che vede nello svolgimento storico dell'Italia medievale una storia di decadenza assoluta, e nella preponderanza politica conseguita dalla Chiesa di Roma l'elemento unificatore di tale storia.

Alquanto diverso il caso di Francesco Guicciardini, il quale pure esperì la medesima traiettoria che lo portò dalla scrittura storiografica in prospettiva puramente municipale dei suoi esordi, alla prospettiva nazionale, e in verità europea, alla quale approda con la *Storia d'Italia*, prima vera storia d'Europa quando la si intenda come storia di quel problema europeo che tra fine xv e primi del XVI secolo

furono le guerre per la supremazia in Italia. Gli esordi di Guicciardini non hanno nulla dell'ufficialità che aveva visto l'avvio della scrittura storiografica presso il segretario della Seconda Cancelleria della Repubblica fiorentina: avvengono piuttosto per impulso personale e sulla linea di una scrittura familiare, di fatto segreta, tipica nei fiorentini del suo ceto. La tradizione a cui si riallacciava Messer Francesco era quella di una scrittura familiare che poteva oscillare tra la cronaca cittadina e la registrazione memorialistica, ma il cui scopo rimaneva comunque l'educazione dei discendenti della famiglia che dovevano imparare a muoversi nella vita pubblica facendo tesoro della saggezza che i più vecchi consegnavano alle loro scritture segrete (il libri di famiglia, i ricordi, i diari). Questa è la radice delle *Storie fiorentine*, che Messer Francesco scrisse prima dei suoi trent'anni. Dopo d'allora, a motivare e nutrire la sua scrittura storiografica – sempre al di fuori di qualsiasi committenza pubblica, e anzi nella pressoché totale segretezza – valse più di tutto l'esperienza personale e i ruoli via via sempre più prestigiosi che egli assunse sulla scena politica dei suoi tempi, fino a divenire artefice della politica della Chiesa nei primi anni del papato di Clemente VII.

Il fallimento a cui andò incontro la linea che aveva impresso alla politica pontificia, con il disastro della lega di Cognac e il successivo sacco di Roma, imposero a Guicciardini una meditazione su quella sconfitta, che era stata una sconfitta personale ma anche del 'sistema' degli stati italiani. Questa meditazione fu quanto mai tormentata, e si dispiegò in molteplici testi: per rimanere a quelli di più diretta impostazione storiografica, vanno ricordati il ritorno

sulla storia di Firenze delle origini, con le *Cose fiorentine*, rimaste in tronco dopo due libri; i *Commentari della luogotenenza*, tutti centrati sulla propria esperienza diplomatica di artefice della lega di Cognac e di luogotenente degli eserciti papali, anche abbandonati per l'insoddisfazione nei confronti dell'impianto generale che non spiegava veramente la materia da trattare; e quindi, infine, la *Storia d'Italia*, la cui genesi trova autentica giustificazione nella volontà di comprendere la propria sconfitta politica nel quadro della fine della libertà italiana.

Machiavelli giungeva alla storia nazionale da un'esperienza relativamente modesta e ormai remota di attore della scena politica, ma con una commissione prestigiosa da parte dei nuovi signori della città, che con quell'opera si illudevano di uscirne glorificati; al contrario Francesco Guicciardini, senza alcun dover soddisfare alcun pubblico impegno ma per chiarirsi il contesto e il senso della propria sconfitta, costruiva in sede storiografica quell'autentica prospettiva nazionale che non era riuscito a costruire in sede politica.

Raffaele Ruggiero

Aix-Marseille Université -Centre Aixois d'Etudes Romanes

**GUICCIARDINI STORICO DEL PRESENTE E
L'ARCHEOLOGIA MACHIAVELLIANA**

Il lessicografo alessandrino Arpocrazione, a metà del II secolo d.C., nel suo *Lessico dei dieci oratori*, si soffermava su un testo di Eforo, lo storico ateniese scolaro di Isocrate, e così facendo ci ha conservato un passaggio assai significativo di Eforo, in cui viene discusso il diverso approccio dello storico che si cimenti con la storia contemporanea e di colui che scriva di storia arcaica. Il giudizio ben calibrato si appunta con ben diverso orientamento sulla nozione di acribia: lo storico che lavori su epoche arcaiche e lontane, disponendo di un numero ridotto di fonti, e per di più sulla cui attendibilità è lecito sollevare sospetti, sarà tanto meno credibile quanto più sarà dettagliato nel suo resoconto. Cioè lo storico che lavora sul passato remoto, se nutre con troppi elementi la sua narrazione, la sua “scrittura del passato”, vuol dire che sta in gran parte facendo ricorso ad una ricostruzione letteraria, sta colmando le lacune delle sue fonti con l’invenzione, con l’arte della retorica. E dunque non è (interamente) fededegno. L’acribia, la precisione e la rievocazione di numerosi dettagli sono lussi concessi solo allo storico contemporaneo, che ha verosimilmente accesso a fonti ricche e verificabili (e magari verificabili anche da parte dei suoi lettori).

Come si vede, il dibattito fra storici arcaici e storici contemporanei è di lunga data, e inoltre costituisce solo una

costola del più profondo solco scavato tra storici-scienziati e storici-letterati. Convinti come siamo che dietro questa antica polemica ci sia un'incomprensione di fondo (e cioè l'incapacità di accettare che la storia è sempre e solo scrittura della storia e non vive se non all'interno della pagina 'letteraria' che ce la testimonia), vorremmo provare a leggere in controluce il rapporto tra l'attività storiografica di Machiavelli, che compose a metà degli anni venti del Cinquecento le *Istorie fiorentine*, cominciando dalla fondazione romana di Firenze, per arrestarsi agli anni di Lorenzo il Magnifico, cioè al di qua (non di molto, ma significativamente al di qua) di quella data fatidica, il 1494, che segna ad un tempo la nascita della repubblica fiorentina e la catastrofe d'Italia, e la *Storia d'Italia* di Guicciardini che, principiando proprio da quel 1494, ne ha fatto la data canonica di inizio della storia moderna europea.

Machiavelli, che non aveva letto né Eforo né Arpocrasione (ma che certo aveva letto Tucidide nella versione di Lorenzo Valla e che poteva probabilmente recitare a memoria le metodologiche righe iniziali della *Prefatio* di Tito Livio), sembra seguire proprio la via di una storia arcaica senza troppi dettagli: si affida a poche fonti, che segue più o meno fedelmente, e soprattutto mira a dare sulle vicende narrate un giudizio causale e politico, un giudizio che ne illumini i nessi meno evidenti e possa avere un valore se non euristico almeno modellizzante.

Guicciardini invece, come è stato giustamente scritto da Emanuele Cutinelli-Rendina, per poter lavorare meglio l'archivio delle magistrature fiorentine, e in particolare dei Dieci, se lo era addirittura portato a casa, e non ha mancato

di servirsene nel dettaglio, riproducendo talora alla lettera passaggi (o descrizioni topografiche) mutuate parola per parola dalle corrispondenze machiavelliane. Dunque un modo di lavorare che potremmo definire moderno e critico, una spiccata consapevolezza dell'importanza della documentazione e di un uso sagace, talora spregiudicato, delle fonti. Eppure la pagina guicciardiniana vive anch'essa in una sua precisa dimensione letteraria, una dimensione fatta di ritratti (talora ritratti 'paralleli' di personaggi chiave), di paragoni e di soppesate valutazioni, del reimpiego di riflessioni teoriche che occhieggiano ai *Ricordi*, di una ripresa, occasionale ma sempre perspicua – lo hanno dimostrato le ricerche di Paolo Carta –, del lessico formale del diritto.

In questa ricchezza e nella varietà di queste prospettive si radica il modo nuovo di pensare la storica, quella riflessione che avrebbe indotto Leopold von Ranke a guardare a Guicciardini interrogandosi su una storia capace di mostrare *wie es eigentlich gewesen*.

Marcello Simonetta

Istituto di studi politici di Parigi (Sciences Po)

MACHIAVELLI, GUICCIARDINI E LA “ROVINA D'ITALIA”

Il presente intervento si concentra sugli ultimi sei mesi di vita di Machiavelli, cioè sul primo semestre del faticoso anno 1527, durante il quale si consuma la “rovina d'Italia”, ovvero la discesa dell'esercito imperiale nella penisola, che – come nel 1494 – fa saltare tutti gli equilibri di potere. Il ruolo di Luogotenente generale del papa Clemente VII coperto da Francesco Guicciardini viene illuminato da una serie di lettere inedite, ritrovate nell'Archivio di Firenze nella corrispondenza ufficiale degli Otto di Pratica, l'organo esecutivo della Repubblica fiorentina, fino alla cacciata dei Medici dal governo della città. Di riflesso, si comprenderà meglio anche il ruolo di Machiavelli, che professava di “amare la patria” tanto quanto amava lo stesso Guicciardini.

Павел Валерьевич Соколов

*Научно-исследовательский институт
«Высшая школа экономики», Москва*

ИДЕИ НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ В ТРУДАХ ГОЛЛАНДСКИХ АВТОРОВ XVII-XVIII ВВ.

В фокусе нашего внимания – история рецепции одного из важнейших дискурсов политической культуры раннего Нового времени, «макиавеллизма», в Нидерландах Золотого века. Начиная с первых упоминаний Флорентийского секретаря в памфлетах и иных полемических текстах времен восьмидесятилетней войны Нидерландов за независимость от Испании, мы завершаем свой обзор выдающимся памятником Макиавеллиевской республиканской традиции в Республике Соединенных Провинций – анонимным трактатом 1742 г. «Макиавелли-республиканец: Апология против “Антимакиавелли” господина Вольтера» (“Machiavel républicain, Tegens den «Anti-Machiavel» van den heer Voltaere verdedigt”). Первоначально имя Макиавелли фигурировало в качестве одного из множества пейоративных ярлыков, которыми обменивались между собой сторонники испанского короля и оранжисты (“Staetkundige Machiavel”). Однако вскоре положение дел изменилось, и на смену одному стереотипному образу пришел другой: вместо Макиавелли как автора «Государя», «тацитиста», основоположника литературы о “ragion di stato”, на первый план выходит Макиавелли как автор «Рассуждений о Первой Декаде Тита Ливия» – апологет античных доблестей и

республиканских институций. Этот республиканский образ Макиавелли органично сопрягается с так называемым «Батавским мифом», у истоков которого стояло знаменитое сочинение Гуго Гроция «О древности Батавской Республики» (“*De antiquitate Reipublicae Batavae*”, 1610): мифом, согласно которому Нидерланды были колыбелью свободы и родиной наук и искусств еще с римских времен (главным источником этой мифологии выступали труды Тацита – «Германия» и «Анналы»). После «Акта об устранении» (*Akte van Seclusie*) 1651 г. и с началом «первого бесстатхаудерного периода» республиканская риторика постепенно радикализывалась, что вызывало повышенный интерес к фигуре Макиавелли у известнейших представителей «коммерческого республиканства», братьев Йохана и Питера Де ла Куров. Этот интерес мог быть как сочувственным, так и полемическим: не случайно Каспар Барлей (ван Барле), преподаватель философии и риторики в Амстердамском атенеуме, автор программной речи «Мудрый торговец, или о совместном изучении торгового дела и философии» (1633), составил также особую инвективу против Макиавелли. Не было недостатка и в попытках «иренической», «сциентистской» интерпретации Макиавелли. Так, А. ван Нивелт, автор перевода «Рассуждений на первую декаду Тита Ливия» на нидерландский язык, опубликованного в 1615 г., предлагает рассматривать Макиавеллиеву концепцию политики в свете аристотелевской теории науки, согласно которой всякая наука включает в себя знание противоположностей (в медицине это болезнь и здоровье, в этике – добро и зло и т.д.), а если так,

то «Государь» занимает в политике такое же место, как «Софистические опровержения» Аристотеля в его логике. Макиавеллиевская деструкция гуманистической этико-риторической парадигмы делала особенно напряженным и потенциально конфликтным проникновение его идей в политическую культуру Нидерландов, принимая во внимание то обстоятельство, что в риторике сначала антииспанской, а потом и антиоранжистской фракции был весьма востребованным римский героический этос и, соответственно, пантеон античных героических образов (Публий Деций Мус, Муций Сцевола, Лукреция, Марк Курций, Юний Брут и т.д.), центральное место в котором занимал «национальный» батавский герой, вождь антиримского восстания 70 г. н.э. Гай Юлий Цивилис. Помимо специфической республиканской доминанты характерной чертой нидерландской рецепции Макиавелли была ассоциация его политических воззрений с так называемым «венецианским мифом» – представлениями о Венецианской республике как государстве с идеальной формой правления (смешанной конституцией). В начале XVIII столетия вышло в свет полное собрание сочинений Макиавелли на нидерландский язык, а несколько десятилетий спустя, под занавес «второго бесстадхаудерного периода», апологеты республиканского образа правления успевают ответить на знаменитый трактат-манифест, созданный Фридрихом Великим в соавторстве с Вольтером, «Антимакиавелли». Однако ответ этот заслуживает специального внимания. Дело в том, что анонимный автор, прячущийся под именем «Макиавелли-типографа», комбинирует в своем тексте

вполне традиционную и серьезную, продолжающую линию братьев Де ла Кур, республиканскую риторику и защиту Макиавелли против всех сколько-нибудь значимых его критиков, начиная с Инносана Жантийе до Поссевина и Рибоденейры, с пародийной, в духе «Парнасских известий» Траяно Боккалини, фиктивной биографией Флорентийского секретаря, в которой тот предстает как герой авантюрной новеллы, скитавшийся по дворам европейских государей в надежде сбыть свои идеи, попавший в руки отцов-иезуитов и в конце концов нашедший приют в Конгрегации пропаганды веры в должности книгопечатника (к этой биографии автор прилагает даже фиктивную буллу Папы Бенедикта). Именно пересечение в этом загадочном (и чрезвычайно малоисследованном) тексте множества дискурсов ученой культуры раннего Нового времени и аргументативных стратегий – элементов тацитизма, литературы *arsana* и *ragion di stato*, нидерландского коммерческого республиканизма, риторики Просвещения, барочной политической сатиры – составит предмет нашего сообщения.

Pavel V. Sokolov

Scuola superiore delle scienze economiche, Mosca

**LA RICEZIONE DI NICCOLÒ MACCHIAVELLI NELLE
OPERE POLITICHE NEERLANDESI DEL SEICENTO –
SETTECENTO**

Nella nostra relazione ci soffermeremo sulle vicende neerlandesi di uno dei discorsi importantissimi della prima modernità, quello del Machiavellismo. Partendo dalle prime menzioni del Segretario Fiorentino nei panfletti ed altri testi polemici della Guerra degli Ottant'anni concludiamo con l'analisi di un testo del tutto particolare della tradizione repubblicana Machiavelliana nei Paesi Bassi – il trattato anonimo del 1742 “Machiavel républicain, difeso contra l’“Antimachiavelli” del sig. Voltaire” (*Machiavel républicain, Tegens den «Anti-Machiavel» van den heer Voltaire verdedigt*). Possiamo riassumere le tappe principali di questa ricezione come segue. All'inizio, il nome di Machiavelli veniva usato come una delle etichette peggiorative che si scambiavano i pro-asburgici e gli Orangisti (*Staetkundige Machiavel*). Fra poco un'immagine stereotipica fu sostituita dall'altra: il Machiavelli come autore del “Principe”, un “tacitista”, padre-fondatore del genere letterario di “ragion di stato”, cede il passo al Machiavelli dei “Discorsi sopra la prima Deca” – apologista delle virtù antiche ed istituzioni repubblicane. Questa immagine repubblicana di Machiavelli si abbinava con il cosiddetto “Mito Batavo”, alle origini di cui stava il trattato di Ugo Grozio “Dell'antichità della Repubblica Batava” (De

antiquitate Reipublicae Batavae, 1610): il mito, secondo cui l'Olanda fin dai tempi romani era una culla delle scienze e delle arti. Dopo l'"Atto dell'esclusione" (Akte van Seclusie) del 1651 e l'inizio del Primo periodo di vacanza dello statolderato la retorica repubblicana si radicalizzava progressivamente e fomentava l'interesse per la figura di Machiavelli dalla parte dei rappresentanti più eminenti del "repubblicanesimo commerciale", tali come fratelli Johan e Pieter De la Court. Questo interesse poteva essere favorevole o critico: non a caso Caspar Barlaeus, l'autore del testo programmatica "Mercatore sapiente, ossia l'orazione sulla congiunzione degli studi della Sapienza e del Commercio" (Mercator Sapiens sive Oratio de conjungendis Sapientiae et Mercaturae studiis, 1633), ha composto anche un'invettive speciale contro Machiavelli. Non mancavano neanche i tentativi di riconciliare Machiavelli con la teoria della scienza di Aristotele. Per fare un esempio, A. van Nievelt, il traduttore dei "Discorsi sopra la prima Deca" in neerlandese, pubblicato nel 1615, suggerisce di considerare la politica di Machiavelli alla luce dei criteri epistemologici proposti da Stagirita, secondo cui qualsiasi scienza include il sapere dei principii opposti (nella medicina questi sono la malattia e la salute, nell'etica – il bene e il male e via dicendo), e se è così, il "Principe" di Machiavelli nella politica tiene quasi lo stesso luogo che le "Confutazioni sofistiche" di Aristotele nella sua logica. La distruzione del paradigma etico-retorico dell'umanesimo, intrapresa da Machiavelli, faceva particolarmente tesa la penetrazione delle sue idee nella cultura politica dei Paesi Bassi, prendendo in considerazione il fatto che la retorica prima antiasburgica e poi antiorangista

valorizzava il pantheon delle immagini eroiche antiche (Publius Decimus Mus, Mucius Scevola, Lucretia, Marcus Curtius, Junius Brutus etc.), con l'accento particolare sull'eroe "nazionale" batavo, il capo della rivolta antiromana del 70 AD Gaius Julius Civilis. Oltre allo specifico accento repubblicano un tratto caratteristico della ricezione neerlandese di Machiavelli consisteva nel ravvicinamento delle sue idee con il cosiddetto "mito veneziano" – la concezione che trattava la Repubblica Veneziana come uno stato con la forma ideale del governo (costituzione mista). All'inizio del Settecento vide la luce l'opera completa di Machiavelli in neerlandese, e pochi decenni dopo, verso la fine del Secondo periodo di vacanza dello statolderato, gli apologisti del repubblicanesimo hanno preparato una risposta del tutto specifica al famoso trattato-manifesto creato da Federico II insieme con Voltaire – "Antimachiavelli". Questa risposta meriterebbe, secondo noi, un'attenzione particolare. L'autore che si nasconde sotto il finto nome di "Machiavelli-tipografo" nel suo testo mette insieme la difesa di Machiavelli contro una schiera dei suoi critici, da Innocent Gentillet a Ribodeneira, e una biografia parodica del Segretario Fiorentino, nello spirito dei "Ragguagli di Parnaso" di Boccalini, in cui questi appare come un personaggio di un racconto di avventura che viaggiava da una corte dei principi europei all'altra, poi è caduto nelle mani dei padre-gesuiti e finalmente ha trovato il rifugio presso la Congregazione "De propaganda fide" nella posizione del tipografo (a questa biografia viene aggiunta addirittura una bolla finta del Papa Benedetto). Sarà proprio l'intersezione in questo testo enigmatico (e poco studiato) di

una varietà dei discorsi della cultura intellettuale della prima Modernità – degli elementi del tacitismo, della letteratura di *arcana* e della ragion di stato, del repubblicanesimo commerciale neerlandese, della retorica dell'Illuminismo, della satira politica barocca – al centro della nostra relazione.

Павел Юрьевич Уваров

Институт всеобщей истории

Российской академии наук

**ИСТОРИЯ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ В ТРАКТАТЕ
РАУЛЯ СПИФАМА *DICAEARCHIAE HENRICI REGIS
CHRISTIANISSIMI PROGYMNASMATA***

1. Адвокат Парижского Парламента Рауль Спифам в 1556 г. нелегально отпечатал сборник законов, якобы изданных королем Генрихом II. Корпус, включавший в себя свыше 300 королевских постановлений, был озаглавлен «*Dicaearchiae Henrici Regis Christianissimi Progymnasmata*» («Упражнения христианнейшего короля Генриха в хорошем правлении») и содержал всеобъемлющий план реформ, призванных «лучше организовать дела своей Республики». Парламент велел конфисковать все напечатанные экземпляры этого сочинения, однако оно все равно нашло своих читателей. Одни считали книгу бредом человека, одержимого манией величия, другие – гениальным озарением провидца (поскольку Спифаму удалось предсказать многое из того, что было претворено в жизнь позднее, вплоть до реформ канцлера Мопу), третьи же принимали некоторые из вымышленных постановлений Спифама за вполне аутентичные королевские законы.

2. При всей экстравагантности своего поведения Рауль Спифам был наблюдательным человеком и опытным юристом. К тому же он общался с теми, кто разрабаты-

вал реформационные эдикты Генриха II. Беспрецедентные преобразования, начатые этим королем, были прерваны возобновившимся конфликтом с Испанией, внезапной гибелью короля (1559) и Религиозными войнами. Моя гипотеза состоит в том, что Спифам стремился подражать логике королевских реформ и по возможности углубить их, эксплицитно (и даже в немного шаржированном виде) провозглашая идеологию преобразований, которая имплицитно присутствовала в деятельности королевских секретарей, готовящих законы Генриха II.

3. Из 309 постановлений, которые вошли в том, изданный Раулем Спифамом, примерно каждое шестое так или иначе содержало отсылку к историческому прецеденту. Чаще всего в преамбуле помещалось «Извлечение из хроник Франции», призванное служить если не обоснованием, то поводом к изложению сути постановления. Например, «извлечение», предварявшее постановление CLXXXVII, напоминало о событиях 1411 года, когда парижские мясники, подстрекаемые герцогом Бургундским, начали бунтовать под предводительством живодера Кабоша. В самом же постановлении речь шла о перенесении парижских боен и оптовых мясных рынков за пределы города. Подобные «извлечения» затрагивали период от времен Меровингов до начала правления Людовика XII. Иногда в преамбуле встречались выдержки «из церковных хроник» и «из Каталога святых». В некоторых случаях давались ссылки на «Римскую историю». Более экзотической выглядит ссылка на «Естественную историю» Плиния Старшего (постановление LXXXVII –

о бродячих собаках и о правилах содержания собак пастушеских).

4. Порой исторические экскурсы содержались не в преамбулах, а в текстах самих постановлений. Вспоминались обычаи египетских царей, походы Александра Македонского, Пунические войны, приводились позитивные примеры из римской истории (возведение Пантеона, организация триумфов), пересказывались истории из жизни святых, прославленных деятелей церкви, подвиги рыцарей прошлого. Любопытно, что примеры из Священного писания или из церковной истории достаточно часто давались в тексте постановлений, но не выносились в преамбулу. В качестве образца для подражания приводился также исторический опыт итальянских городов, например, организация *Monti delle doti* или процедура выборов должностных лиц в Венеции.

5. Подлинные указы французского короля Генриха II в преамбулах никогда не содержали подобных отсылок. Как правило, в тексте королевского постановления упоминалось лишь о тех конкретных законах предыдущего царствования, которые надлежало расширить, видоизменить или отменить. В крайнем случае собирательно говорилось о «законах наших предков». Но когда в регистрах Парижского Парламента сообщалось о процедуре утверждения королевских указов и пересказывалось выступление генерального прокурора или канцлера, представлявшего тот или иной закон, исторические примеры в их речах были весьма обильны.

6. Юристам того времени было свойственно оснащать свою речь многочисленными историческими примерами,

порой даже сверх меры. В конце XVI века в сочинениях-рассуждениях о профессии адвоката авторы даже предупреждали о недопустимости злоупотребления, выражавшегося в демонстрации адвокатом своей исторической эрудиции, что мешало разбору сути дела во время судебных заседаний. Вообще же в ценности истории для юридической профессии никто не сомневался (достаточно указать на появление знаменитого «Метода» Жана Бодена). Очевидно, что Рауль Спифам, стремясь подражать стилистике королевских постановлений, оставался при этом верен дискурсивной практике парижских адвокатов. Но это лишь частичное объяснение «историзма» постановлений, сочиненных этим адвокатом.

7. В план Рауля Спифами по реорганизации правосудия входило расширение функций королевского Тайного совета, в том числе создание при совете особого органа, парижской Синдикальной палаты, разделенной на 30 палат (постановление XX). Общей целью этих новых учреждений было «выявление королевских прав за пределами страны и их защита не только от посягательств, но и от забвения...». Впредь любому соглашению с иностранными государями должно было предшествовать всестороннее его рассмотрение, основанное на «изысканиях в глубине веков, в бездне того прошлого, которого обычно боялись коснуться». За каждой из палат был закреплен определенный регион: от сопредельных провинций и стран до относительно далёких территорий, например Ирана. Спифам тщательно распределял обязанности многочисленного персонала, регламентировал порядок изысканий в Сокровищнице хартий и после-

дующей публикации их результатов. В более позднем постановлении (постановление ССVII) он «загрузил» палаты дополнительной работой по отысканию доказательств древности королевских прав уже во внутренних провинциях Франции. Отныне король «не будет утверждать ничего, что не имело бы древних неопровержимых и неоспоримых свидетельств, извлеченных из самых лучших во всем мире историй».

8. Помимо политико-дипломатической пользы сами исторические свидетельства и процесс их поиска имел и иную ценность в глазах «законодателя». В постановлении XIV предписывалось составить «мартиролог – каталог всех принцев, капитанов, их помощников и прочих воинов, погибших в военных походах ради сохранения и защиты короны Франции, начиная со времен Карла Великого». Подобно мартирологу святых этот «каталог воинов» надо было составить по календарному принципу, в соответствии с днями поминовения, и читать его во всех церквах во время утренней службы «дабы воодушевить дворянство более доблестно служить оружием, среди опасностей войны... в качестве подлинных мучеников, без иной канонизации, если случится им умереть на этом одре славы». Спифам определял фонды, из которых должны были оплачиваться эти поминальные проповеди, а также учреждал должность штатного «историографа доблестных деяний, свершенных добрыми и славными рыцарями». Описание подвигов, утверждалось в постановлении, будет составлено в хронологическом порядке на латинском и на французском языках. Историограф будет работать в паре со специально назначен-

ным для этого прославленным поэтом. Очертив круг их обязанностей, Спифам определял размер их жалования и указывал статью королевских доходов, из которых оно должно было выплачиваться.

9. Была ли государственная организация «исторических служб», которые занимались бы поисками источников, лишь плодом прожектерства Спифама? В некоторых случаях предлагаемые Спифамом меры, как выяснилось, уже прорабатывались в королевском «штабе реформ». Именно при Генрихе II термин «королевский историограф» из почетного именованья превращается в обозначение должности на регулярном королевском жаловании. Правда, первый обладатель этой должности Пьер де Пасхаль был скорее поэтом, чем «историографом» в понимании Спифама. Но секретарь Парижского Парламента Жан Дю Тийе в середине XVI века писал свои во многом беспрецедентные труды по общей истории Франции уже на основании архивных источников. Книги Дю Тийе будут опубликованы лишь после его смерти (1570). Но с начала 1560-х годов молодой парижский адвокат Этьен Паскье начинает издавать свои знаменитые «Разыскания по истории Франции», также опираясь преимущественно на первоисточники. В самом конце XVI столетия появится официальная должность «историографа Франции» (1596), правда, идея, что ее обладатель должен трудиться, преимущественно опираясь на найденные им исторические документы, утверждалась очень медленно. Представление о том, что история пишется по источникам, в дальнейшем пробивало себе дорогу в основном в трудах историков – представи-

телей монашеских орденов. Но странный опус Спифама, возможно, открывает нам альтернативный, «огосударствлённый», путь развития исторического знания, реализация которого была приостановлена Религиозными войнами.

Pavel Yu. Ouvarov

*Institut d'histoire universelle de l'Académie des sciences
de Russie*

**HISTOIRE ET SOURCES HISTORIQUES DANS LE LIVRE DE
RAOUL SPIFAME *DICAEARCHIAE HENRICI REGIS
CHRISTIANISSIMI PROGYMNASMATA***

En 1556, l'avocat du Parlement de Paris Raoul Spifame imprima illégalement un recueil des arrêts rédigés au nom du roi Henri II. Ce livre contenant plus de 300 arrêts s'intitulait *Dicaearchiae Henrici Regis Christianissimi Progyrnasmata*. Durant longtemps, l'ouvrage de Raoul Spifame fut considéré soit comme un fruit d'imagination malade d'un mégaloman, soit comme un recueil de projets extrêmement utiles (Spifame réussit à prédire de nombreuses réformes jusqu'à celles du chancelier Maupeou), soit comme des lois authentiques. D'après mon hypothèse, Spifame imita la logique des ordonnances royales, en proclamant explicitement (et même de façon exagérée) l'idéologie des réformes globales. La même idéologie fut implicitement présentée dans la logique des secrétaires royaux qui avaient préparé les lois de Henri II.

Dans l'œuvre de Raoul Spifame un arrêt sur six contient une référence aux précédents historiques. Le plus fréquent est le cas quand dans le préambule se trouvent *Extraits des Chroniques de France*, destinés à justifier la raison pour exposer le contenu des arrêts. Ces «extraits» représentent la période à partir du temps des Mérovingiens jusqu'au début

du règne de Louis XII. Parfois il n'y a pas d'excursions historiques dans le préambule, mais elles peuvent se trouver dans la partie normative du arrêt.

Les préambules des édits authentiques de Henri II ne contient pas de références historiques. Contrairement les discours du procureur général ou du chancelier prononcés au cours de la registration des arrêts royaux au Parlement sont pleins des exemples historiques. Les avocats de cette époque ornaient souvent leurs discours par des exemples historiques parfois de façon démesurée. Spifame, un avocat âgé, resta fidèle aux habitudes du langage de ses collègues du Palais. Mais un engagement de style n'est qu'une explication partielle de l'«historicisme» des arrêts de *Dicaearchiae*.

Spifame conçut l'élargissement des fonctions du Conseil privé, notamment la création d'une institution spéciale dépendante de celui-ci et divisée en 30 chambres. L'objectif commun de ces nouvelles insitutions fut de rechercher des anciens documents dans le Trésor des Chartes «pour la promotion et advancement de beaucoup de droicz appartenantz a la Royale couronne de France qui demenrent en arriere par faulte de les ramenteuvoir». A chacune des chambres fut attribueé une région spécifique pour les recherches – à partir des pays voisins jusqu'aux territoires iraniennes (chambre du Sophi et d'Asie la maieur). Spifame réglementa bien la procédure des recherches dans le Trésor des Chartes ainsi que la publication obligatoire de leurs résultats. Dans un arrêt ultérieur, il chargea les chambres de fonctions analogiques de trouver des preuves des anciens droits royaux dans les provinces de la France.

Les recherches de preuves historiques eurent non seulement le valeur politico-diplomatique. Le «roi» ordonna, qui sera fait un martirologue du catalogue tous les princes, capitains, leurs lieutenans, et autres gens de guerre qui sont morts en expedition militaire, pour la tuition et defense de la couronne de France, depuis le temps de Roy Charlemaigne... à la fin d'exciter la noblesse à plus vaillamment entreprendre des faitz d'arme... comme s'estimans vrays martyres... Pour cette mission Spifame créa un office d'historiographe ordinaire des gestes vertueux, et faitz chevalereaux des bons et notables chevaliers. En outre il nomma un poète illustre pour l'aider. Les exploits furent décrits par ordre chronologique en latin et en français.

Est-ce que l'organisation des «services historiques» engagées dans la recherche de sources ne fut que le fruit de l'imagination de Spifame? Sous le regne d'Henri II le terme «historiographe royal» se transforma du titre honorifique à la désignation d'un office rémunéré au Trésor d'Epargne. A cette époque-là Jean du Thillet écrivit ses travaux sur l'histoire de la France, basés sur les documents d'archives, Etienne Pasquier commença à travailler sur ses Recherches de la France, en s'appuyant aussi sur les sources primaires.

Au siècle suivant, l'idée que l'histoire «se fait avec des documents» est confirmée principalement dans les écrits des membres des congrégations et des sociétés religieuses. Mais le livre de Spifame nous montre une autre manière, plutôt «étatique», du développement des recherches historiques dont la mise en œuvre fut suspendue par les guerres de religion.

Enrico Fenzi

Università di Genova, emerito

**PRIMA DI MACHIAVELLI. DANTE, PETRARCA E
L'ITALIANITÀ DELL'ITALIA**

Voi mi parlate di questa Italia e io non la vidi mai in viso

Ludovico il Moro a Francesco Foscari

Come è stato più volte osservato, Dante ha ben chiara la posizione geografica dell'Italia, il «bel paese là dove 'l si suona» (*Inf.* 33, 80) costituito dalla regione prevalentemente peninsulare limitata dalle Alpi a Nord e dai mari Tirreno e Adriatico a Ovest e a Est, e percorsa nel senso della lunghezza dalla catena degli Appennini (*De vulgari eloquentia*, *Dve* I 8, 8-9). Tale regione è inoltre caratterizzata da una speciale forma di unità linguistica che in gran parte è compito degli scrittori, e in particolare dei poeti, sviluppare e consolidare in direzione di un volgare illustre sopraregionale. A tale unità geografica e linguistica non corrisponde però una struttura politica unificata e governata da un potere centrale: uno 'stato' italiano semplicemente non esiste né Dante arriva a contemplarne la possibilità, sì che per lui l'orizzonte entro il quale gli sparsi frammenti dell'Italia politica possono sperare di ricomporsi è costituito da un rinnovato, utopico impero universale, esemplato sul modello dell'Impero romano.

Detto ciò, è anche chiaro che l'idea dell'Italia è qualcosa di assai più ingombrante, al punto che sembra che ogni discorso al riguardo sia dominato da una forte schizofrenia,

che almeno a un primo approccio oppone le misure alquanto modeste dell'Italia reale a una sua trascendente e ipertrofica immagine fondata sul mito di Roma e coltivata soprattutto dagli Italiani medesimi, (si può accennare che proprio su questa presuntuosa schizofrenia punteranno, specie a partire dal '500, tutti gli stranieri, specie francesi e spagnoli, che ne vorranno ridurre l'importanza storica e culturale). Per Dante è appunto così. Da una parte, concreta non è un'inesistente Italia politica, ma le sue singole parti, cioè le città in continua feroce lotta tra loro e al loro stesso interno, come l'«infernale» Firenze; dall'altra, il suo grande passato la destina ad essere parte eletta, sì, ma pur sempre parte di un Impero che la comprenda, il «giardin de lo 'mperio». Così Dante la definisce nel canto VI del *Purgatorio*, là dove è la famosa invettiva: «Ahi serva Italia, di dolore ostello...», che suona come una durissima, definitiva condanna di un paese travolto dalla forza disgregatrice delle sue stesse rissose autonomie, non ricondotte all'ordine da un 'nocchiero' superiore ed esterno, e insomma da un Cesare tedesco capace di riportarla sulla giusta via con i suoi 'sproni'. Ora, per capire tutto questo è bene allargare un poco il discorso al percorso politico di Dante, diviso piuttosto nettamente in due grandi fasi.

La prima fase precede l'esilio, e vede la partecipazione del poeta agli organi di governo del Comune: è sostanzialmente priva di pronunciamenti teorici, se si eccettuano le canzoni dedicate alla definizione della nobiltà e della leggiadria, rispettivamente *Le dolci rime* e *Poscia ch'Amor*, ma può essere definita, seppur con alcuni caratteri suoi propri, come guelfa. La seconda, successiva all'esilio

(possiamo farla muovere dal famoso elogio di Federico II e di Manfredi che è in *Dve* I 12), è di segno contrario e cioè esplicitamente ghibellina: in essa la scarsità di coinvolgimenti operativi è supercompensata dal continuo atteggiamento giudicante e riflessivo della *Commedia*, culminante nella speculazione teorica della *Monarchia*, che ostentatamente si stacca dalla cronaca e mira ai pochi e alti princîpi di una visione politica che abbraccia l'umanità intera. La premessa del percorso che in un breve giro d'anni porta Dante a trasformare nel profondo la propria visione sta in quelle due canzoni sopra nominare, collocabili con qualche elasticità alla metà deli anni '90 del 200. Occorre dire che *Le dolci rime* e *Poscia ch'amor* sono state lette troppo spesso in maniera disgiunta, ognuna per conto proprio, forse perché la seconda non è riuscita a essere commentata nel trattato, come era previsto. Eppure esse sono intimamente implicate una nell'altra, e se la prima intende definire filosoficamente cosa sia la nobiltà, la seconda minuziosamente specifica quali siano i comportamenti dell'uomo nobile. L'impalcatura raziocinante e sillogistica dell'argomentazione mostra un solido patrimonio di letture, a cominciare, ma non solo, dall'*Etica* di Aristotele. Ma ciò che colpisce non è tanto l'esibizione e la sfida culturale pur così evidente, quanto la dominante politica che guida il discorso, con una lucidità e una forza che non cessano di stupire. L'argomento stesso, innanzi tutto. La *quaestio nobilitatis* si poneva, allora, all'incrocio delle tensioni sociali tra popolo e magnati che laceravano il Comune in cui la vecchia *militia* di tradizione militare si scontrava con la nuova, censitaria e comunale, e intratteneva un complesso rapporto con

l'altrettanto nuova categoria dei *magnates*, mentre la durezza medesima degli ordinamenti popolari imponeva una continua ridefinizione e rilegittimazione dell'*ethos* nobiliare quale privilegiato deposito di valori in cerca di trasformazione e salvezza. Questo, almeno, è il programma di Dante, che solo con pesante banalizzazione può essere appiattito sulla pura e semplice rivendicazione della 'virtù' come essenza della nobiltà, con relativa condanna di quella di sangue e, peggio, del denaro. Che ci sia *anche* questo è fuori di dubbio, ma di là dal fatto che Dante negli anni sempre più renderà omaggio alla nobiltà di sangue, il punto forse centrale sta nel fatto che l'intero suo discorso mira a liberare l'intero repertorio dei «reggimenti belli» dalla cappa anacronistica degli antichi condizionamenti feudali, e a restituirlo alla viva dialettica della società presente e alla sua effettuale e però spesso distorta domanda di 'nobiltà'. Era, il suo, un progetto intelligente e ambizioso che approdava alla formazione di una vera e propria piattaforma culturale e politica che avrebbe dovuto porsi come l'orizzonte massimo e unificante dei comportamenti socialmente virtuosi della comunità. In questo senso, quelle canzoni erano il modo migliore di porsi come l'erede di Brunetto, e la più nobile dichiarazione di intenti che potesse accompagnare il suo ingresso in politica e marcarne il carattere. Ma era anche, nella realtà terribile di quegli anni, una utopia perfettamente consapevole d'essere tale. Dante per primo denuncia la cosa nel corpo stesso delle canzoni, là dove riconosce di non sapere a chi mai egli stia parlando: «tratterò il ver di lei [*la leggiadria*] ma non so cui» (*Poscia ch'Amor* 69), e alla fine, nell'ultimo lapidario verso della settima stanza che chiude la canzone priva del congedo

perché non c'è a chi indirizzarla: «Color che vivon fanno tutti contra». Se dunque la canzone trattiene l'eco del magistero brunettiano, essa però con quelle dichiarazioni pessimistiche distrugge la base stessa, guelfa e repubblicana, alla quale faceva riferimento l'ideologia di Brunetto, che per parte sua le avrebbe trovate contraddittorie e inconcepibili. Il punto non è da poco perché il fatto che il Dante 'comunale' del 1295 non riesca a ravvisare nei concittadini la naturale controparte del suo discorso etico-comportamentale (ma anche più tardi, nelle parole di Ciacco, *Inf.* VI 73, in Firenze «Giusti son due, e non vi sono intesi») importa una fuoruscita dal solco rigorosamente guelfo del maestro, e l'affacciarsi su una situazione di personale isolamento che sembra preannunciare quello stesso senso di solitudine che più o meno dieci anni dopo lo deciderà a *fare parte per se stesso*. In tal senso, il distacco di Dante dalla propria 'parte' è anche la presa di distanza, o meglio il rigetto, di un'intera esperienza della quale poco o nulla restava da salvare, e la ricerca, per contro, di un principio di razionalità, prima ancora che di una particolare soluzione politica, al quale ancorare l'ipotesi di un possibile modello valido *erga omnes*. Secondo una logica fermamente guidata dal principio della *reductio ad unum* che ha straordinari momenti di affinità con il discorso intorno al volgare illustre ed è innervata nel vero e proprio sfondamento prospettico provocato dall'esilio, si fa strada in Dante la percezione del fallimento irreversibile di quel Comune e insieme di quel progetto di educazione 'comunale' di stampo brunettiano che al proprio interno non offriva punti di resistenza per potersi auto-riformare. Il grido forte e spontaneo d'ammirazione per Federico II e Manfredi

esprime appunto la tensione verso un orizzonte capace di integrare e superare la cieca empiria del municipalismo guelfo, troppo debole e frantumato in mille conflitti e interessi particolari per produrre da sé proiezioni politiche di grado superiore. E immediatamente dopo questa che potrebbe essere definita come una sorta di integrazione trascendente, prende infatti campo la riflessione affatto nuova su Roma e sull'impero, affidata alla famosa 'digressione' del l. IV del *Convivio*, per tanti versi altrettanto inattesa e stupefacente quanto quelle parole dell'appena precedente *De vulgari eloquentia* alla quale strettissimamente si riallaccia sia per la parte positiva che per la negativa. Sembra quasi che quelle lodi di Federico II e di Manfredi abbiano avuto valore dirompente, esplosivo, e d'un colpo abbiano per dire così fatto saltare la diga che tratteneva il discorso e il pensiero stesso di Dante. Subito dopo quella che abbiamo definito come la prima esplicita e articolata dichiarazione di fede politica, ecco ora, a ruota, dichiarazioni come queste (ma è ovvio che i testi dovrebbero essere letti per intero): «Lo fondamento radicale della imperiale maiestade, secondo lo vero, è la necessità della umana civiltade che a uno fine è ordinata, cioè a vita felice», e per raggiungere questa possibile umana felicità, impedita da guerre e discordie continue tra città e regni «conviene di necessitate tutta la terra, e quanto all'umana generazione a possedere è dato, essere Monarchia, cioè uno solo principato, e uno prencipe avere; lo quale, tutto possedendo e più desiderare non possendo, li regi tegna contenti nelli termini delli regni, sì che pace intra loro sia» (*Conv.* IV 4, 1-4). La natura universale del vincolo (*religio*) che lega ogni singolo

membro della specie umana a tutti gli altri esige di per sé un «nocchiero, che [...] alli diversi e necessari officî ordinare abbia del tutto universale e inrepugnabile officio di comandare. E questo officio per eccellenza imperio è chiamato, senza nulla addizione, però che esso è di tutti gli altri comandamenti comandamento. E così chi a questo officio è posto è chiamato Imperadore, però che di tutti li comandatori elli è comandante, e quello che elli dice a tutti è legge, e per tutti dee essere obedito, e ogni altro comandamento da quello di costui prendere vigore e autoritade. E così si manifesta la imperiale maiestade e autoritade essere altissima nell'umana compagnia» (ivi 4, 6-7).

Il salto è netto e irreversibile. Questo non è più il Dante dei Consigli fiorentini, o il Dante priore. Il punto dal quale egli osserva e giudica si è di colpo fatto altissimo, e apre spazi impensati, percorsi in un sol balzo. In quei capitoli del *Convivio* il discorso sull'Impero richiama immediatamente Roma, e con Roma il disegno provvidenziale che ha presieduto alle sue conquiste, come saranno efficacemente descritte nel cosiddetto 'volo dell'aquila', nel canto VI del *Paradiso*. Innanzi tutto, per Dante prima di quello di Roma non ci sarebbe stato nessun Impero che avesse avuto come scopo il bene universale: da questo punto di vista, l'Impero ha rappresentato un elemento decisivo di discontinuità con il passato, e proprio in quanto tale deve essere necessariamente ricondotto all'intervento della volontà divina che ha investito Roma della sua missione. L'uso della forza, innegabile, è stato semplicemente uno strumento nelle mani della provvidenza, che ha anche voluto predisporre il mondo nella sua condizione migliore per la venuta di Cristo: «E però che

nella sua venuta lo mondo, non solamente lo cielo ma la terra, convenia essere in ottima disposizione; e la ottima disposizione della terra sia quando ella è monarchia [...] ordinato fu per lo divino provvedimento quello popolo e quella cittade che ciò dovea compiere, cioè la gloriosa Roma» (*Conv.* IV 5, 4). Nello stesso tempo, tale natura provvidenziale del *nascimento* e del *processo* di Roma non ha violentato o distorto la storia umana, ma in maniera affatto straordinaria ne ha realizzato i fini assecondandone la intrinseca razionalità, onde Dante può scrivere: «da maravigliare è forte quando la esecuzione dello eterno consiglio tanto manifesto procede che la nostra ragione la discerne» (*ivi* IV 5, 2). Dante afferma dunque come il disegno divino sia percepibile e dunque partecipabile dalle forze dell'intelletto umano che ne scoprono, si vorrebbe dire, la sostanza e la necessità propriamente storica, sì che tale intima compenetrazione tra il piano della trascendenza e il piano dell'esperienza umana e terrena è appunto ciò che caratterizza l'Impero come *unicum*, e lo costituisce come un 'modello per sempre' (si veda per ciò *Ep.* V 3 per ciò che anche gli antichi avevano compreso, e nella *Commedia* le ripetute invocazioni alla testimonianza di Virgilio sulla necessità e l'eternità dell'Impero). Al proposito, si ricordi seppur brevemente che per un giurista come Accursio, seguito da altri, solo l'Impero può chiamarsi in senso proprio *respublica*, «caeterarum vero civitatum abusive dicuntur respublicae, et loco privatorum habentur» (vd. Calasso, *Gli ordinamenti giuridici*, pp. 239 e 527). Ecco dunque *Mon.* I 14, 7-8: «il genere umano, secondo le norme che gli sono comuni ed appartengono a tutti i popoli, sia da lui retto e

*governato verso la pace con una regola comune. La quale regola o legge i principi particolari devono ricevere da lui, proprio come l'intelletto pratico in vista della conclusione operativa riceve la premessa maggiore dall'intelletto speculativo, assume sotto di essa la particolare, che è propriamente la sua, e conclude operando particolarmente. E ciò non solo è possibile a uno solo, ma è necessario che proceda da uno solo, affinché sia tolta di mezzo ogni confusione intorno ai principi universali». L'Impero, insomma, è l' 'intelletto' del genere umano, e in quanto tale sovrintende a tutte le operazioni della vita sociale e dei suoi fini terreni. A questo punto è chiaro che ogni pretesa papale di subordinare a sé il potere dell'imperatore è respinta in radice. Non è il caso di tornare in questa sede su un argomento ben conosciuto, e basterà ricordare come nel libro terzo della *Monarchia* Dante si pronunci contro la validità della 'donazione di Costantino', alla cui autenticità pur credeva. Dante insiste specialmente sulla nullità giuridica del documento, dal momento che né Costantino poteva donare ciò che suo non era, né sfruttare il suo ufficio per fare qualcosa che fosse contrario a quanto l'ufficio medesimo gli imponeva (*Mon.* III 10, 5), finendo per dividere e distruggere l'Impero che aveva il dovere istituzionale di difendere e conservare. Per parte sua la Chiesa non poteva accettare un dono che contraddiceva alla sua natura, violava l'espressa proibizione di possedere oro e argento, e la degradava: «Costantino non poteva alienare la potestà dell'Impero, né la Chiesa poteva riceverla [...] Ma sarebbe contrario al diritto umano, se l'Impero distruggesse se stesso: dunque all'Impero non è lecito distruggere se stesso. Poiché dunque*

scindere l'Impero sarebbe distruggerlo, consistendo l'Impero nell'unità della Monarchia universale, è manifesto che a chi riveste l'autorità dell'Impero non è lecito scindere l'Impero. Che poi distruggere l'Impero sia contrario al diritto umano, è cosa manifesta per ciò che si è detto sopra» (Mon. III 10, 4 e 8-9). Dopo di che, dal capitolo 13 del libro, Dante torna sulla questione della diretta dipendenza da Dio dell'autorità imperiale. Avendo dimostrato sino a quel punto «quod virtus auctorizandi regnum hoc sit contra naturam Ecclesie» (Mon. III 15, 9), deve ora porre il tassello finale, visto che non ha ancora compiutamente dimostrato che l'autorità dell'imperatore deriva direttamente da Dio (Mon. III 16, 1: «non tamen omnino probatum est ipsam [auctoritatem Imperii] immediate dependere a Deo»). Ed ecco appunto che lo dimostra attraverso un ventaglio di argomenti già presenti nella pubblicistica relativa (l'Impero è esistito prima della Chiesa; non risulta che Dio abbia conferito alla Chiesa l'autorità di confermare o autorizzare l'Impero; il regno di Cristo, per esplicita affermazione evangelica, 'non è di questo mondo'), che suonano propedeutici all'ampio discorso sulle due distinte 'beatitudini', la terrena e la celeste, e sulle due guide che a queste beatitudini devono condurre l'umanità, l'imperatore e il papa. E infine, poiché la felicità terrena è intimamente inerente all'ordine del cosmo e poiché tale ordine cosmico è direttamente voluto da Dio «che presenzialmente vede la totale disposizione dei cieli» (Mon. III 16, 12), anche l'autorità imperiale che presiede alla felicità terrena sarà immediatamente dipendente dalla volontà divina: donde si deduce, infine, che chi elegge l'imperatore è ispirato da Dio

(proprio come i cardinali quando eleggono il papa, aggiungiamo: nel *Convivio*, IV 4, 9 e 5-6, la «divina elezione del romano imperio» è appunto quella di Dio, che a fini provvidenziali ha voluto la formazione dell'impero romano), sì che in verità l'elettore è detto impropriamente tale, essendo piuttosto un 'denunziatore' o 'banditore' della volontà divina. L'atto dell'elezione ha dunque in sé, *ab origine*, la sua propria conferma, mentre la conferma papale mediante l'unzione e l'incoronazione romana diventa inessenziale, e la Chiesa viene esautorata nella sua funzione e, diremmo, nel suo monopolio di unica interprete e custode della voce di Dio. Più delle parole, in ogni caso, conta la logica sottesa al discorso di Dante. Padoan osserva come «la diretta investitura divina dell'Imperatore è proposizione che neppure il più ghibellino dei giuristi di parte imperiale aveva fino allora osato enunciare» (*Alia utilia reipublice* p. 56), e come tale proposizione fosse, naturalmente, inammissibile per la Chiesa. Infine: la Chiesa non è 'causa' dell'autorità imperiale né sta a lei conferirla, come da tutta la Bibbia si ricava e come dimostra la storia di ogni popolo, dagli Asiatici agli Africani agli Europei (*Mon.* III 14, 7). Ancora, la natura della Chiesa coincide con la sua forma, e tale forma non è null'altro che la vita di Cristo, che dinanzi a Pilato ha affermato solennemente che il suo regno non è di questo mondo (*Mon.* III 15, 5). Infine nell'ultimo capitolo, il sedicesimo, Dante torna sulla distinzione originaria tra i due poteri, e la riporta alla doppia natura dell'uomo, dotato di un corpo e di un'anima, che comporta un doppio fine: quello della felicità terrena che ha la sua 'figura' adeguata nel paradiso terrestre, e quello della beatitudine celeste che si

godrà in Paradiso. In ciò, è importante la distinzione operata tra le virtù morali e intellettuali necessarie alla felicità terrena e raggiungibili attraverso i «*phylosophica documenta*», e le «*dottrine spirituali che trascendono la ragione umana, allorché le seguiamo con l'operare secondo le virtù teologiche, cioè la fede, la speranza e la carità*» (*Mon.* III 16, 8). Per questo, in vista del suo duplice fine, l'uomo ha bisogno di due diversi poteri direttivi: il Pontefice che secondo i princîpi della fede rivelata lo conduca alla vita eterna, e l'Imperatore che secondo i «*phylosophica documenta*» elaborati dalla ragione umana lo conduca alla felicità temporale.

L'esperienza e la coscienza politica di Dante, insomma, ha conosciuto un percorso che muove dalla cronaca municipale di Firenze e finisce per oltrepassare i confini dell'attualità e delle puntuali circostanze biografiche, trovando i suoi spazi in una dimensione intellettuale e morale così forte da giungere intatta sino a noi e da riproporci le sue inquietanti domande. Spesso si sorvola quasi con pudore sull'universalismo della visione politica dantesca, considerandolo come qualcosa che guarda indietro: un relitto seppur grandioso del passato che farebbe di lui, secondo una formula che càpita ancora di sentire, 'l'ultimo uomo del Medioevo', cieco dinanzi all'imponente fenomeno della formazione degli stati nazionali: fenomeno che per lui si riassumeva nel detestato regno di Francia, ma che, siamo obbligati a pensare, avrebbe suscitato la sua avversione anche se in ipotesi avesse investito l'Italia. Si provi a ribaltare la prospettiva, e a considerare il suo pensiero come quello di chi coglie il senso e la direzione delle cose, e ne

denuncia i rischi micidiali: la perdita della nozione per la quale ogni singolo uomo è *civis* di una terrena e universale comunità che ne riconosce e garantisce i diritti fondamentali, sanciti da uno *ius* che di quella medesima collettività umana è vita e sostanza, e della quale costituisce il fine: «Vedere il raggiungimento del fine dello Stato nella realizzazione del fine dell'umanità corrisponde perfettamente a quell'esigenza ideale di una monarchia universale abbracciante tutta l'umanità. Uno Stato il cui popolo è l'umanità deve fare del fine di essa il suo fine proprio. Questo fine dello Stato, obiettivo e universale, è nello stesso tempo un fine assoluto, cioè, un fine unitario che comprende in sé tutti gli altri e che rimane uguale per tutti i tempi e per tutte le possibili forme statuali» (Kelsen, *La teoria*, p. 73). Uno *ius* senza il quale non può che trionfare una frammentata logica regionale alla quale presiede la violenza reciproca, e la *cupidigia* e la *rapina* elevate al rango di uniche potenze direttrici nella sfera del politico, e dunque responsabili di una storia che avrebbe finito per coincidere con la guerra di tutti contro tutti. Questo è il 'momento' che Dante vive e interpreta evocando la necessità dell'Impero universale per un percorso di pace e conoscenza, e in ciò mescola inestricabilmente il sogno di una grandiosa utopia positiva ai segni affatto reali di un futuro drammatico che non è certo sopraggiunto a smentirlo.



Come s'è visto, l'Italia per Dante ha una identità geografica nettamente definita, ed ha un'altrettanto chiara

identità linguistica che già s'è espressa nelle canzoni dei suoi poeti che le meritano l'eccellenza nel quadro più ampio delle lingue romanze. Non ha, invece, identità politica, e le sue frantumate e feroci vicende interne finiscono di mostrare che neppure può sperare di averla, e che il suo destino e la sua salvezza è semmai quello di tornare a far parte di un ricostituito Impero, ch'è però il magico nome di Roma a evocare e a catalizzare, non il paese tutt'intero. In maniera sotterranea, non sempre evidente, molte delle idee di Dante tornano nell'altro grande intellettuale, Petrarca, il quale è però il primo a esaltare in termini nuovi, nel quadro di una epocale *translatio studiorum*, il ruolo egemone dell'Italia nel quadro della civiltà europea, così come è il primo a elaborare una serie di riflessioni squisitamente politiche che suonano già assai vicine al pensiero di Machiavelli. Tali riflessioni non sono tuttavia espresse in forma sistematica, ma sono in ogni caso legate da una forte coerenza interna, sì che è abbastanza facile ricavarne il senso complessivo.

Anticipiamo una considerazione importante. Petrarca, come nessun altro intellettuale italiano e probabilmente europeo, ha avuto il singolare privilegio di fare esperienza diretta e costante del mondo del potere, nel quale ha abitato dal principio alla fine della sua vita e che ha ben conosciuto e al quale ha partecipato come diplomatico in tutte le sue varianti: da quella curiale e papale a quella monarchica (di Napoli e poi di Francia); da quella delle signorie padane e segnatamente della Milano viscontea e della Padova carrarese a quella repubblicana di Genova e Venezia, e infine a quella imperiale, nella persona di Carlo IV di Boemia che conobbe e del quale fu ospite. Detto questo, si può forse

cominciare dal fatto che Petrarca ripetutamente e con intatta forza di convinzione si dichiara contrario ai regimi di popolo che avevano il loro archetipo in Firenze e, come Dante, chiude con l'ideologia comunale e democratica, che aveva avuto il suo principale teorico in Brunetto Latini 'inventore' di quella interpretazione repubblicana della storia di Roma che tanta parte avrà ancora in tutto l'Umanesimo maturo. Sino a un certo punto, diciamo sino agli anni '50 del 300, questa sarà anche la posizione di Petrarca che ne inventerà l'eroe eponimo, Scipione, e che, sulla base di Livio, dominerà soprattutto la stagione del *De viris* e dell'*Africa*. Ma Petrarca è molto distante per non dire del tutto estraneo, per formazione ed esperienza, all'attualizzazione in chiave comunale di Brunetto, che lucidamente pone lo strettissimo nesso tra il nascere 'uomini del Comune' e la forma di governo naturalmente democratica e municipale della casa a tutti comune. Se l'uomo – ogni uomo – nasce 'cittadino', la città gli appartiene come il luogo proprio del suo essere sociale, e il reggimento di essa, quali ne siano i modi specifici, sarà in definitiva cosa sua. E mai e poi mai, aggiunge Brunetto, si dovrà accettare che un uomo solo ottenga la somma del potere: «ond'io non so nessuno / ch'io volesse vedere / la mia cittade avere / del tutto a la sua guisa» (*Tesoretto* 170-173). Ecco, Petrarca, di là dall'esaltazione della Roma repubblicana, non ha nulla a che fare con una siffatta ideologia, rompe quel nesso tra 'città' e reggimento repubblicano, e rifiuta di farne la specifica 'marca' della realtà italiana contrapposta, come faceva Brunetto, alle monarchie europee. Ma ciò vale sul piano delle forme politiche e dell'organizzazione del potere più che

su quello dei contenuti, perché è in lui costante la preoccupazione di salvare e quasi trasferire dall'ambito comunale a quello signorile il nucleo profondo dell'esperienza che si era storicamente costituita attorno al valore fondante del 'buon governo'. Paradossalmente, potremmo dire che per Petrarca solo i regimi signorili, più o meno tirannici, possono ormai garantire i valori repubblicani (si tratta di un paradosso che a ben vedere riguarda anche Dante teorico dell'impero ed esaltatore delle grandi figure della Roma repubblicana). Già questo mostra che, in lui, l'ideale monocratico non è qualcosa di passivo, ma piuttosto di ragionato e polemico, basato com'è sulla percezione delle dinamiche politiche in atto che volgevano a favore dello stato regionale, e in specie di quello visconteo. Gli ultimi anni del decennio '40-'50 sono cruciali al proposito, perché gli impongono una serie di scelte di campo che investono il suo destino personale, le sue opere – quelle già composte e quelle ancora da comporre – e le sue concezioni politiche. L'adesione al tentativo di Cola di Rienzo, nell'autunno 1347, non è priva di ombre, specie nella fase finale, ma certo ebbe un impatto decisivo su Petrarca che ne fu spinto a definire con maggiore chiarezza il suo orizzonte politico e a sostituire alla figura di Scipione quella diversamente emblematica di Giulio Cesare. Nell'egloga V del *Bucolicum carmen*, *Pietas pastoralis*, egli esalta il potere personale di Cola e i risultati da lui raggiunti (in singolare consonanza con i giudizi che si trovano nella *Cronica* dell'Anonimo romano), e più tardi, si sa, attribuì il fallimento del tribuno alla sua incapacità di esercitare sino in fondo il proprio potere in modi compiutamente tirannici. Anticipando il crudo realismo di

Machiavelli, nella *Fam.* XIII 6, del 1352, lo rimprovera aspramente per non aver giustiziato, come aveva annunciato di fare, i nobili romani che aveva imprigionato dopo averli invitati a una festa, e per averli addirittura liberati, dando prova di una fatale debolezza (§11: «Egli [Cola] è senza dubbio degno di ogni supplizio, perché quello che volle non lo volle con tutte le sue forze, come avrebbe dovuto e come la situazione necessariamente imponeva. Ma dopo essersi impegnato a difendere la libertà, potendo sopprimere in un sol colpo tutti i suoi nemici – un’occasione che la fortuna non aveva mai concesso ad alcun imperatore – li lasciò liberi e armati»). La persistenza culturalmente rilevante di temi repubblicani, in definitiva, non nasconde la sostanza di una visione politica che fa centro sulla pienezza dei poteri e sull’iniziativa di un solo uomo. Così, nella particolare situazione italiana, Petrarca prende atto della trasformazione allora in atto dei regimi cittadini in signorie, e proprio la fallimentare esperienza di Cola di Rienzo lo spinge a definire con maggiore chiarezza il suo orizzonte politico, e a porsi, dal 1353, al servizio dei Visconti, i ‘tiranni’ di Milano titolari del più potente ‘stato regionale’ d’Italia (si veda, per non fare che un esempio, l’*Epyst.* III 6, a Luchino Visconti). Né Petrarca mutò poi opinione sulla propria scelta per il regime monocratico, convinto, come scrive al Boccaccio in *Sen.* VI 2, 1-2, che è più facile sopportare un solo tiranno che molti, quali sarebbero quelli che compongono le oligarchie che gestiscono il potere in forme democratiche e repubblicane, com’è appunto il caso di Firenze. Sul piano politico, il potere accentrato nelle mani di un solo uomo gli appare non solo come l’unica garanzia di pace e buon

governo, ma pure come l'unica possibilità di esercitare quella unitaria ed efficace azione politica che i regimi democratici non possono permettersi, inevitabilmente dilaniati, come in effetti sono, da incessanti e rovinose lotte intestine. All'ombra del mito italico di Roma, così è da intendere là dove scrive a Paganino da Besozzo, funzionario visconteo: *«Certamente, se consideriamo la nostra situazione presente, in tanta implacata discordia d'animi, non mi resta il minimo dubbio che la monarchia sia la cosa migliore per unire e risanare le forze degli italiani disperse nel furore di lunghe guerre civili. E come ho imparato questo, so anche che la mano di un re è necessaria ai nostri mali ...»* (Fam. III 7, 1-2: *«Certe ut nostrarum rerum presens status est, in hac animorum tam implacata discordia, nulla prorsus apud nos dubitatio relinquitur, monarchiam esse optimam relegendis reparandisque viribus italia, quas longus bellorum civilium sparsit furor. Hec ut ego novi, fateorque regiam manum nostris morbis necessariam...»*). Questo definitivo addio all'invecchiata ideologia comunale e democratica si fa forte della mutata situazione sociale e politica, e di tale realtà dà ben conto la parte finale della lettera, ove spicca il secondo motivo d'interesse. Con particolare insistenza Petrarca raccomanda a Paganino di esortare il suo signore a non insistere nell'allargare ulteriormente i propri confini: *«a te, amico caro, che conosci il mio animo, vorrei dare un consiglio semplice, ma sincero : quello di convincerlo [Luchino] che i confini del suo stato sono già abbastanza larghi»*. E ancora, poco avanti: *«Sento dire che stia meditando nuove imprese: se insiste, gli ele auguro felici, ma preferirei che si fermasse, perché questa è*

una linea di condotta più sicura. Opponiti, ti prego, fin da principio ...». E infine, nella chiusa: *«I confini limitati si difendono facilmente; un regno immenso è difficile da conquistare, ma è difficilissimo da difendere»* (ibid., 4: «tibi, inquam, amice, cui animus meus notus est, hoc rusticum forte sed fidele consilium dedisse velim, ut suadeas sibi fines suos satis patere»; «Audio illum novas res moliri: opto feliciter si pergit sed malo desinat: tutior enim via est»; «Modestos regni fines facile tueare; immensum imperium difficile queritur, difficillime custoditur»). Frasi come queste le si possono giudicare ispirate alla retorica del più semplice e topico buon senso, ma, di là dalla forza diretta e per nulla di maniera di quel: «Opponiti...», per correggere quel giudizio basta brevemente ricordare gli allarmi e le leghe e le guerre suscitate dall'espansionismo visconteo, che si era impadronito di Parma nel 1346 e si sarebbe allargato sino a Bologna nel 1350, minacciando direttamente Firenze e il fragile equilibrio italiano, e procurando la scomunica al capo della casata, l'arcivescovo Giovanni. Per il tramite di Paganino, non c'è dubbio che Petrarca, che dei Visconti divenne poi l'abile diplomatico, volesse accreditarsi presso Luchino non come un altro letterato in cerca di protezione e ospitalità, ma come uomo di fiducia che sin dall'inizio del rapporto era in grado di dare prova della propria autonomia di giudizio, e che era perfettamente in grado di indicare nel difficile equilibrio italiano il nodo politico piuttosto che militare del momento.

Quanto si è citato sin qui (assai poco, ma facilmente rinforzabile con molte altre citazioni possibili) mostra che cosa sia la *monarchia* che Petrarca invoca e della quale porta

a esempio il regime visconteo: non già la forma di governo di una anacronistica Italia unita, ma piuttosto quella più adatta a puntellare un 'sistema italiano' basato sulla coesistenza di realtà molteplici: al Nord Milano, Venezia e Genova (lo si vede bene nel corso della sua attività diplomatica per i Visconti durante la guerra tra Genova e Venezia nei primi anni '50), e poi Firenze, e al Sud, oltre lo stato della Chiesa, la Napoli angioina (Machiavelli toglierà Genova dall'elenco). Il disegno che Petrarca ha in mente corrisponde a quello che sarà perseguito da Lorenzo il Magnifico e dalla sua politica italiana dell'equilibrio: un disegno che avrebbe bisogno, appunto, di forti e decise 'mani regie', mentre resta ingestibile se rimesso nelle mani di miopi e faziose oligarchie cittadine (che poi tale 'sistema' esaltato insieme da Machiavelli e da Guicciardini si rivelasse un castello di carte destinato a sfasciarsi, alla fine del '400, sotto i colpi delle potenze straniere, è un'altra storia).

A questo punto occorre fare un salto, perché proprio le fondamentali opzioni politiche di Petrarca, dettate dalla speciale situazione italiana, vanno insieme, in lui, a un discorso nuovo e per molti aspetti eversivo. Si tratta del fatto che la cruda polarizzazione del momento politico e delle sue leggi lascia scoperto, dall'altra parte, il ruolo e l'identità del singolo. Il suo cittadino, strappato dal vecchio orizzonte imperial-teologico come dalla più recente identità comunale e repubblicana, cessa per molti aspetti d'essere tale, e dinanzi al potere che gli si contrappone si scopre come individuo: più precisamente, come individuo solo e impotente, immerso in una realtà di potere che non gli appartiene e nella quale non ha posto alcuno. E precisamente

in quanto ha cessato di essere un cittadino ed è piuttosto un individuo accerchiato e oppresso da meccanismi feroci che non lo riguardano e che tragicamente confermerebbe e aggraverebbe con la sua ribellione (vd. *Sen.* XIV 1, 28, e le già famigerate lettere al Bussolari, *Fam.* XIX 8 e *Disp.* 39), l'unica cosa che davvero lo interessa è il margine di libertà personale e di 'ignoranza' della politica della quale gli è dato di godere. Solo una condizione di pace, infatti, per quanto si tratti di cosa instabile e a sua volta piena di rischi (*De remediis*, I 106, *De pace et indutiis*) può dare qualche garanzia di sopravvivenza e di serenità: una pace che per essere tale obbliga il cittadino a rinunciare alle libertà propriamente civili e politiche e a rimettersi, in buona sostanza, al 'tiranno' di turno (e ciò è valsa a Petrarca la dura condanna del risorgimentale *De Sanctis*). Petrarca non si stanca dunque di predicarla, la pace, come il massimo dei beni possibili, continuando a sottolineare come solo un potere forte e accentrato possa garantirla: in *De remediis* I 105, *De spe pacis*, 3, egli, magnificamente occorre dire, fa sue le parole di Lucano, I 669-670, secondo il quale la spirale terribile della guerra civile si sarebbe interrotta non pregando gli dei, ma solo sotto il dominio del vincitore: «Et superos quid prodest poscere finem? / Cum domino pax ista venit». Diversamente, il massimo della libertà concessa a una cerchia più ristretta di persone dotate di mezzi e cultura, è semmai quella della 'fuga', che nel pensiero di Petrarca assume connotati decisivi. La fuga, infatti, è sempre una virtuosa scelta di libertà, perché attraverso di essa l'individuo si libera da ciò che lo opprime e realizza il proprio personale diritto alla felicità. L'arte della fuga,

insomma, è l'unica vera politica dell'individuo, l'unico suo potere attraverso il quale può esprimere la sua capacità di rifiuto e arrivare a restituire sé a se stesso. Valga quanto Petrarca scrive a Cola, nel momento della definitiva e difficile scelta politica: «*Perché dovrei torturarmi? Le cose andranno così come l'eterna legge del destino ha stabilito: non posso cambiare il corso delle cose, ma posso fuggirle*» (*Fam.* VII 7, 9: «*Quid autem torquebor? Ibunt res quo sempiterna lex statuit; mutare ista non possum, fugere possum*»). Tra le molte altre citazioni possibili relative a questa 'politica della fuga', vd. *De vita solitaria* I 10, 9, ed. Enenkel, p. 123; *Bucolicum carmen* VIII, *Divortium*; *Fam.* XI 5; *Fam.* XV 7; *Fam.* XXI 9, 15; *Fam.* XIX 7, 4; *Fam.* XXIV 4, 2, ecc.). E in questa contrapposizione affatto nuova e così profondamente sentita tra l'individuo e il potere sta forse la chiave ultima dell'atteggiamento di Petrarca. L'individuo ignori dunque o venga a patti con un potere che non può fare a meno di subire, oppure in casi estremi se ne fuga. Il potere, per parte sua, visto che esiste e sempre esisterà, tanto vale che, localmente, sia ristretto in pochissime mani, meglio in quelle di uno solo, sì che il male che è in grado di fare non ecceda le possibilità del singolo, e sì che lo si possa più facilmente riconoscere e addossargli le sue responsabilità. Certo, lo si potrà amare oppure detestare, ma tenendo fermo che si tratta di una forza invincibile nelle sue varie incarnazioni alla quale l'individuo deve in ogni caso rassegnarsi, adoperandosi per quanto gli è possibile di scansare ogni urto diretto e di costruirsi una sua propria dimensione separata, una nicchia personale che lo protegga dai turbini della storia. In caso contrario, non c'è scampo

perché là dove non ci sono tiranni sono i popoli interi a far da tiranni: «ubi enim tyranni desunt, tyrannizant populi». Ma è meglio leggere tutto il passo dal quale queste parole sono estratte:

Quasi nessuno è libero: dappertutto ci sono schiavitù, carceri, catene [...] Volgiti come vuoi verso qualsiasi parte della terra: nessun luogo è senza tirannide: dove i tiranni mancano, infatti, sono i popoli a tiranneggiare. E così, quando ti sembrerà di essere scampato a un tiranno solo, incapperai in molti, a meno che tu non sia in grado di indicarmi un luogo sul quale regni un re giusto e mite. Se lo farai, ci andrò immediatamente ad abitare facendo fagotto di tutte le mie cose [...] Ma è inutile cercare quello che non esiste da nessuna parte.

(«fere nullus est liber; undique servitus et carcer et laquei [...] Verte te quocunque terrarum libet: nullus tyrannide locus vacat; ubi enim tyranni desunt, tyrannizant populi, atque ita, ubi unum evasisse videare, in multos incideris, nisi forsitan iusto mitique rege regnatum locum aliquem michi ostenderis. Quod cum feceris, eo larem illico transferam, cumque omnibus sarcinulis commigrabo [...] Sed frustra queritur quod nusquam est»: *Invectiva contra quendam magni status hominem*, ed. Bausi 2005, p. 200, §§ 169-173).

In tutto ciò sta evidentemente un altro paradosso (di radice tutta agostiniana, va aggiunto). Il potere è consustanziale alla naturale malvagità dell'uomo perché ne è il prodotto, ma insieme ne è anche il parziale ma indispensabile rimedio. E in quanto duro e persino feroce rimedio, quando non si possa starne alla larga lo si deve rispettare o addirittura aiutare. Probabilmente, questo è il

nocciolo della posizione di Petrarca, il più convinto machiavellico prima di Machiavelli, che è riuscito nell'impossibile disegno di presentarsi estraneo al potere nel momento stesso in cui lo serviva e che si sarà sentito colpevole o contraddittorio in molte cose, ma certamente non nell'essere stato l'uomo dei Visconti 'tiranni'.



Come s'è visto, seppur in prospettiva diversa: imperiale in Dante, signorile in Petrarca, in entrambi l'Italia come corpo politico unico non c'è, né ci può essere. Tutto fa pensare che nella visione di Dante una 'nazione Italia', proprio come la *nation France* (si veda il bel volume di Colette Beaune, *Naissance de la nation France*, Paris, Gallimard, 1985), solo per il fatto di essere tale si sarebbe posta in contrasto con l'impero universale e ne avrebbe ulteriormente indebolito la possibilità; nella visione di Petrarca, la sua impensabile esistenza avrebbe richiesto la drammatica rottura degli equilibri esistenti e una lunga fase di sanguinosi rivolgimenti dal successo oltremodo incerto. Tutto, insomma, meno che la pace. Dell'Italia si parla molto, è vero, ma ogni volta che s'affaccia un pensiero che potrebbe insinuare qualcosa come una realtà 'nazionale', si è sempre rinviati dall'Italia presente all'antica Roma. Cioè al fantasma di qualcosa di perduto e irrevocabile che nel momento medesimo in cui esclude ogni idea di nazione fonda una idea di patria. L'Italia, insomma, in Dante e in Petrarca e in seguito ancora per molto tempo, non è una nazione ma una patria: cioè un sentimento, una

nostalgia, un orizzonte identitario sul quale grava il peso di un perfetto e indicibile interdetto politico.

Consideriamo brevemente alcuni testi, per cogliere meglio la complessità di questo nodo. Il primo è proprio all'inizio della *Commedia*, là dove, *Inf.* I 106-108, Virgilio profetizza l'avvento risanatore del *veltro*:

Di quella umile Italia fia salute
per cui morì la vergine Cammilla,
Eurialo e Turno e Niso di ferute.

Non è che un cenno rapido, ma colpisce per la sua straordinaria intensità. A tutta prima spicca la topica associazione tra l'Italia e la storia di Roma nella quale quella nozione si identifica, ma un attimo dopo non si può non riflettere che Camilla, alleata di Turno, combatteva contro Enea e, in ultima analisi, contro una Roma che ancora non esisteva. Dante, in altre parole, non discrimina tra amici e nemici, ma unisce coloro che sono morti «di ferute» ed hanno versato il proprio sangue per un'Italia ch'è appunto la patria comune per la quale si può e si deve morire, *prima* che Roma, diremmo, la faccia tale, e che come patria risanata tornerà a vivere quando il *veltro* sarà giunto a restituirle *salute*. Di più, a dare consistenza e durata a una patria siffatta, prima e dopo Roma, l'Italia è detta *umile*, che normalmente e con vari pertinenti rimandi si chiosa come 'misera': è così, certo, ma in questo contesto *umile* ha pure un senso diverso e profondo che allude alla sua originaria e materiale essenza di patria che esiste oltre le gesta epiche e degne di alta poesia dei suoi eroi, e insomma oltre Roma

stessa (una patria che non ha dunque bisogno del ‘volo dell’aquila’ del canto VI del *Paradiso*).

Di qui è abbastanza facile passare a Petrarca che compendia esemplarmente molte delle cose dette sin qui nelle sue grandi canzoni politiche: *O aspectata in ciel* (Rvf 28), *Spirto gentil* (Rvf 53), e infine e soprattutto *Italia mia* (Rvf 128). Qui, Petrarca esorta i signori italiani alla pace e in particolare li supplica a licenziare i merceneri stranieri, anticipando così uno dei motivi fondamentali di Machiavelli. Ma questi puntuali contenuti vivono in una dimensione più ampia alla quale appaiono subordinati, mentre la voce di Petrarca occupa solitaria la scena e assume su di sé tutto il peso e la responsabilità di una testimonianza storica e morale che nessun altro riesce a portare, sì che l’io del poeta acquista per la prima volta un così potente risalto profetico. Attraverso di lui è Iddio stesso che parla:

e i cor’, che ‘ndura et serra
 Marte superbo et fero,
 apri Tu, Padre, e ‘ntenerisci et snoda;
 ivi fa’ che ‘l Tuo vero,
 qual io mi sia, per la mia lingua s’oda
 (vv. 12-16).

All’ombra di una simile invocazione, risuonano nella canzone gli stessi accenti con i quali Petrarca nei suoi *Rerum memorandarum libri* (I 19) si presentava «sul confine di due popoli», nell’atto di «guardare contemporaneamente innanzi e dietro», e dunque capace di segnare, da solo, l’immanente necessità di un riscatto epocale. Ma non è tutto, perché il

fascino della canzone sta probabilmente nella combinazione di due motivi che Petrarca sa intrecciare benissimo attraverso una eloquenza semplice e diretta di grande effetto: il motivo del riscatto, appunto, che si fonda sul mito di Roma guerriera e dominatrice e sulle vittorie di Mario e Cesare, e il motivo diverso, diremmo virgiliano, dell'amore per il suolo natio, della naturale *pietas* che anima i buoni e gli innocenti legati da un rapporto affatto naturale e intimamente religioso con la loro terra, e però vittime di una violenza estranea e irrazionale:

Non è questo 'l terren ch'i' toccai pria?
Non è questo il mio nido
ove nudrito fui sì dolcemente?
Non è questa la patria in ch'io mi fido,
madre benigna et pia,
che copre l'un et l'altro mio parente?
Perdio, questo la mente
Talor vi mova, et con pietà guardate
Le lagrime del popol doloroso
Che sol da voi riposo
Dopo Dio spera...

(vv. 81-91)

Ma i due motivi appunto si intrecciano e infine si saldano, e proprio la strofa appena citata torna in fine, splendidamente, all'altro, quello della riscossa, che s'è per via arricchito di risonanze speciali, meno militari che morali, ora che la naturale *religio* del popolo italico nella sua aspirazione alla pace s'è fatta sostanza della sua virtù. Basta

poco, dunque: basta che i signori italiani ristabiliscano un rapporto reale con i loro popoli perché finalmente tutto cambi. Allora:

Vertù contro a furore
prenderà l'arme, et fia 'l combatter corto,
ché l'antiquo valore
ne l'italici cor' non è anchor morto.
(vv. 93-96).

È giusto ricordare, a questo punto, che Machiavelli meglio di tutti ha inteso e sviluppato con coerenza l'utopico messaggio della canzone, e che ha chiuso il *Principe* con i versi appena citati, che non costituiscono una sorta di finale svolazzo retorico, per quanto sublime, ma piuttosto la chiave di volta del suo discorso. Nelle sue linee generali l'analisi del segretario fiorentino non è poi molto diversa da quella di Petrarca e, nel *Principe*, l'appello alla riscossa risuona intatto, per tacere poi della puntuale polemica contro l'uso delle milizie mercenarie e la 'barbarie' straniera – il *furor teutonicus* – che conferisce un peso tutto speciale alla più famosa e bella canzone patriottica della nostra letteratura. È anche vero, d'altra parte, che proprio il richiamo a Machiavelli ci mette sulla via per cogliere la serietà e la forza di *Italia mia*, ma anche per definire l'ambito tutto ideale del suo patriottismo che non ha, e per la verità non cerca, il minimo ancoraggio in concrete situazioni o controparti politiche. Petrarca offre, insomma, il modello compiuto di quell'utopico patriottismo italiano costretto per secoli a convivere con una realtà assolutamente refrattaria e

dunque costretto a rifugiarsi con più o meno d'intelligenza e sensibilità, in ogni caso altissime in lui, nella sfera transpolitica della sublimazione culturale ed estetica. Ma quelle canzoni hanno pur fondato, con le parole di Contini «s'intenda letterariamente, sulla base della romanità, la secolare nozione di nazionalità italiana». La quale nozione s'incardina e propriamente riceve sostanza dall'idea fondante della *translatio*.

Il discorso si fa qui complesso, e deve essere drasticamente semplificato. Diciamo dunque che Petrarca è precisamente l'intellettuale che ha messo a fuoco il tema della *translatio* del sapere dalla Grecia a Roma e da Roma alla modernità e che, entro l'orizzonte europeo, è stato capace di agire di conseguenza rivendicandola per intero, quella epocale *translatio*, all'Italia. Lo fa sin dall'inizio, a partire dalla stagione che diremmo 'romana' dell'*Africa*, del *De viris*, dei *Rerum memorandarum libri*, e proseguirà instancabile per tutta la vita, sino alle violente polemiche della vecchiaia, segnatamente il *De ignorantia* che rivendica contro lo scientismo moderno il valore perenne dell'etica classica fecondata dal cristianesimo, e il *Contra eum qui maledixit Italie* che in nome di una continuità spirituale tutta da riscoprire è interamente impegnato a condannare in maniera dura e persino feroce la presunta egemonia culturale francese: della *translatio* solo l'Italia, invece, custodisce la chiave segreta e il desiderio, e può dunque prepararsi a farne il lievito potente della rinascita. Tutto Petrarca, insomma, può ben essere letto alla luce di una programmatica volontà di *translatio* che irrompe nel quadro culturale d'Europa e lo sovverte e lo rinnova, e il successo dell'operazione mostra

come meglio non si potrebbe l'incerta sostanza e l'equivoca ideologia che aveva sin lì regolato i conti con l'eredità classica. Di ciò non è tuttavia possibile parlare in questa occasione come si dovrebbe, ed è perciò meglio stringere il discorso attorno a qualche nodo specifico, come quello dell'incoronazione romana del 1341, e il relativo significato simbolico e la carica polemica dello scontro tra Parigi e Roma che Petrarca mette allora in scena. È vero: nell'immediato Petrarca non polemizza affatto, e si dipinge come effettivamente dispiaciuto nel declinare l'invito parigino. Ma le cose sono quelle che sono, clamorosamente evidenti. Da una parte sta Parigi, la capitale politica e culturale del mondo moderno, e il concreto prestigio della sua Università. Dall'altra, una sorta di città inesistente, un puro nome: Roma e, in Roma, il Campidoglio. Ma un nome capace da solo di evocare un *altro* mondo, un'*altra* dimensione dello spirito... Petrarca non ha in realtà alcuna esitazione, e dobbiamo immaginarlo perfettamente consapevole della portata del suo gesto quando mostra di rifiutare Parigi e di scegliere Roma: si tratta infatti, né più né meno, della clamorosa rottura nei confronti di uno dei più solidi miti culturali correnti e insomma di una dichiarazione di guerra che se per il momento è tutta implicita, affidata più ai fatti che alle parole, non tarderà a diventare esplicita ed a svilupparsi negli anni in maniera limpida e coerente. Si osservi intanto che anche per Petrarca Parigi è stata una capitale del sapere, ma in senso affatto negativo: è stata infatti la capitale dell'«*insanum et clamosum scolasticorum vulgus*», e cioè del detestabile sapere di tipo dialettico e sillogistico contro il quale egli, «*in confinio duorum*

populorum», ha instancabilmente contrapposto la necessità della *translatio*, e cioè del ritorno al dimenticato patrimonio della cultura classica, finalmente inteso nella sua vera e sempre attuale essenza. Tutto quanto era stato detto nei secoli precedenti della Parigi *parens* e *fons scientiarum* e, nelle bolle papali, reincarnazione della biblica Cariath Sefer, è di colpo ribaltato con un gesto la cui plurima oltranza polemica e addirittura eversiva non è stata forse percepita sino in fondo. Petrarca, infatti, attacca contemporaneamente su due fronti, perché da un lato contesta il valore di quel sapere scolastico del quale l'Università di Parigi era il monumento, ma irrompe pure in un campo che sino a poco tempo prima (è opportuno ricordarlo) era stato dominato dall'iniziativa politica, culturale e giuridica dei 'regalisti' francesi, i quali alla doppia guerra contro l'universalismo imperiale e quello papale avevano accompagnato una parallela opera di costruzione di una forte e articolata ideologia nazional-monarchica – la stessa che, su altro piano, già aveva suscitato l'irriducibile opposizione di Dante. Si che, a differenza di come talvolta la si pensa, l'iniziativa di Petrarca è diretta contro un sistema tutto francese già ampiamente collaudato, che con qualche schizofrenia rivendicava per sé e però insieme tendeva a emarginare una possibile continuità 'romana', non negandola ma risolvendola interamente entro la centralità prima carolingia e poi capetingia. Petrarca coglie lucidamente i termini di una siffatta schizofrenia, ancora evidente, per esempio, nelle simpatie francesi, tutte leggibili in chiave anti-romana, per la figura di Alessandro Magno, e contesta alla radice le valenze culturali e in senso lato civilizzatrici di quella pretesa

centralità. Né si tratta, in lui, di una battaglia circoscritta o peggio episodica. Tutt'altro. Ogni suo atto lo caratterizza, per quanto qui c'interessa, come il solitario e però vittorioso campione di una *translatio* in chiave italiana che gli appare, a quel punto, ancora irrealizzata e però indifferibile. Non si tratta dunque di andare in cerca di citazioni: senza esagerazione, ogni scritto di Petrarca sta dentro questo orizzonte, dalle opere 'romane' della prima maturità, come s'è detto, alle polemiche della vecchiaia. E ogni scritto va letto sullo sfondo di un'Italia divisa e tormentata nella quale lo 'stato regionale' dei Visconti poteva apparire come la realtà più ampia e solida, entro un'Europa in cerca di ricomposizioni territoriali e identità nazionali che si stavano rivelando ancora incerte e difficili. In questa situazione, l'iniziativa assolutamente geniale – politicamente geniale, prima di tutto – di dar corpo a una *renovatio* per dir così transpolitica, che prevedeva la formazione di una *societas* di intellettuali tendenzialmente disancorata da condizionamenti e compromessi con i poteri locali, non poteva non avere successo, tanto più che tale iniziativa era condotta con una consapevolezza e una capacità realizzatrice perfettamente adeguate allo scopo. Insomma, la mancanza di una diretta sponda politica si è trasformata nell'ingrediente più importante del successo del progetto, e ne ha liberato le potenzialità. La grande proposta della *mise au jour* di un retroterra fondante e invero essenziale per un'idea di civiltà che si rifacesse ai modelli della romanità e avesse al proprio centro una corrispondente 'idea' dell'Italia che a sua volta anticipasse le attese e ai bisogni della nascente Europa, ebbene, tutto ciò scavalcava in un sol colpo i mille problemi

di un *puzzle* politico tanto complicato quanto al momento irrisolvibile, e affrontava per la prima volta l'ordine vero della *translatio*. In altri termini, potremmo ben ripetere che Petrarca appare come l'unico che veramente ha capito che cosa l'altrimenti impossibile 'patria italiana' potesse significare e quale somma di adempimenti comportasse, e ha dedicato la vita a metterla in atto. Così, si deve a lui se nell'immaginario collettivo, non importa quanto semplificatorio e grossolano, il Rinascimento italiano è apparso a lungo e forse tuttavia appare come il terzo momento forte della nostra civiltà occidentale, dopo la Grecia e dopo Roma. E in ciò, senza dubbio, egli ha contribuito in maniera decisiva a fare dell'*umile* Italia per la quale Camilla e Turno, Eurialo e Niso sono morti una patria.

Андрей Джолинародович Щеглов

Институт всеобщей истории

Российской академии наук

**«ШВЕДСКАЯ ХРОНИКА» ОЛАУСА ПЕТРИ:
СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ И ВЛИЯНИЕ РЕНЕССАНСА**

Олаус Петри и его исторический труд

Олаус Петри – шведский классик, реформатор, религиозный просветитель, историк. Одно из главных его произведений – «Шведская хроника», которая охватывает историю Швеции с древнейших времен до начала XVI в. Эта хроника интересна как ученый труд, памятник литературы и исторический источник⁹.

Олаус родился около 1493 года в городе Эребру. Окончив школу, поступил в Уппсальский университет, затем уехал в Лейпциг, а потом в Виттенберг, где стал студентом. В 1517 году получил степень бакалавра, в 1518 стал магистром. В то время в Германии началась Реформация. Олаус проникся идеями Лютера, стал его сторонником.

В 1519 году Олаус вернулся на родину и стал секретарем стренгнесского епископа Матиаса Григории. Вторая половина 20-х годов XVI в. стала временем успехов шведской Реформации. На всесословном собрании –

⁹ Для данной работы использовалось издание хроники, вошедшее в собрание сочинений Олауса Петри: Olaus Petri Samlade skrifter. Uppsala, 1917. Bd. IV. S. 1–298. Русский перевод хроники выполнен автором: Олаус Петри. Шведская хроника / Пер. А. Щеглова. М., 2012.

риксдаге 1527 года были приняты резолюции о редукции церковных владений, о налогообложении церкви и о проповеди «чистого Слова Божьего», т.е фактически о проповеди реформационных идей. Реформы были выгодны королю, которому немало помог Олаус Петри.

В начале 30-х годов XVI в. реформаторы добились множества успехов. Олаус Петри стал секретарем короля; брат «местера Улофа» Лаврентиус Петри был избран Уппсальским архиепископом. И все же положение лидеров шведской Реформации было непрочным. Покровительство короля Олаусу Петри сменилось опалой; монарх уволил Олауса с должности секретаря. В 1539 году в отношениях Олауса Петри и Густава Васу наступил кризис. Олаус Петри опубликовал сочинение о кощунственных клятвах, в которых упоминалось имя Бога. Там говорилось: властям нужно наказывать богохульников. Но нынешние правители не таковы: они сами кощунствуют больше всех... Указанный труд возмутил Густава Васу. Король объявил: это призыв к мятежу, а не христианское поучение.

Имелись и другие обстоятельства, которые разгневали Густава Васу. Король ознакомился с «Шведской хроникой» «местера Улофа», по-видимому, в ранней редакции, и обнаружил нежелательные мысли. В конце 1539 года состоялся суд. Было зачтено обвинение: в проповедях и хронике «местера Улофа» содержатся призывы к мятежу. Суд приговорил Олауса к смертной казни. «Местер Улоф» обратился с просьбой о помиловании. Ходатайство было удовлетворено.

Опала оказалась недолгой. В 1541 году Олаус получил от короля письмо. Там говорилось: король желает, чтобы «местер Улоф» написал историю деяний монарха; в хронике должно быть описано, как король освободил Швецию, какие лишения перенес, как боролся с врагами.

Олаус Петри умер 19 апреля 1552 года. Спустя небольшое время король вновь прочел рукопись «Шведской хроники» – и пришел в ужас. Король обвинил Олауса в клевете в отношении шведов и в сочувствии к врагам Швеции. Монарх приказал конфисковать списки хроники и запретил ее печатать. Тем не менее хроника распространялась в списках и была по достоинству оценена читателями – и как ценный исторический труд, и как источник мудрых мыслей.

Мнения историков о «Шведской хронике»

Хроника Олауса Петри была в конце концов опубликована в XIX веке, и это стимулировало интерес ученых к данному произведению. Так, Л. Ставенон констатировал: хроника Олауса Петри, в отличие от хроник многих предшественников и современников автора, объективна, толерантна¹⁰. Согласно Г. Лёву, новое, что отличало хронику Олауса Петри от более ранних шведских хроник, заключалось в убеждении: историк должен стремиться к беспристрастности и истине. При этом данная хроника, согласно Лёву, обладает и значительными художественными достоинствами¹¹.

¹⁰ *Stavenow L.* Olaus Petri som historieskrivare. Göteborg, 1898.

¹¹ *Löw G.* Sveriges forntid i svensk historieskrivning. Stockholm, 1908.

Вехой в исследовании «Шведской хроники» стала монография Г. Вестина, посвященная источникам и методам Олауса Петри. Вестин показал, что хроника Олауса Петри в значительной степени основана на труде более раннего хрониста – Эрикуса Олаи. Но наряду с указанной хроникой Олаус использовал другие источники – в том числе документальные. Это позволило скорректировать повествование, подвергнуть его переработке, сделать более цельным и последовательным¹². Из более поздних исследований, посвященных хронике Олауса Петри, наибольшее значение имеет работа У. Ферма¹³. Указанный историк считает, что хроника Олауса Петри относится к жанру т.н. «прагматической историографии», для которой характерны следующие признаки: 1) историк разъясняет мотивы, которыми руководствовались исторические деятели; 2) историк пишет, чтобы его труд был полезен современникам и потомкам. Хроника Олауса Петри соответствует указанным критериям. Это видно уже из вступления: «Бог... устроил так, что жизнь и правление тех, кто некогда жил в этом мире, надлежит описывать ради исправления и предостережения их потомков, дабы те могли узнать, какие начинания сопровождаются успехом, а какие – неудачны и ведут к дурному исходу».

Как указывает Ферм, для Олауса важны причинно-следственные связи: «...Истории, сиречь хроники, сле-

¹² *Westin G.T.* *Historieskrivaren Olaus Petri. Svenska krönikans källor och krönikeförfattarens metod.* Lund, 1946.

¹³ *Ferm O.* *Olaus Petri och Heliga Birgitta. Synpunkter på ett nytt sätt att skriva historia i 1500-talets Sverige.* Stockholm, 2007.

дует писать так, чтобы в них... излагалось, от каких причин произошли беспорядки и войны, и каким образом был сохранен мир и покой...». Польза «прагматической» истории основана на том, что человеческая природа неизменна: по словам Олауса, «мир не меняется».

Польза, рассуждает Олаус, возможна, если историк беспристрастен. В трудах предшественников, по мнению «местера Улофа», дело обстоит иначе: «...Многое было написано людьми пристрастными. Такие люди возвышали тех, чьей стороны держались, и как можно более приносили их противников; истина же... оказывалась в пренебрежении». Задача историка – стремиться к истине.

Сложен вопрос: какие историки повлияли на Олауса Петри. Возможно, на позиции Олауса отразились идеи Меланхтона: историю полезно изучать, история – основа всех наук: ведь все впечатления выстроены во времени, в хронологическом порядке, и сохраняются в памяти. Ферм показывает: в отношении взглядов на историю между Меланхтоном и Олаусом Петри имелись и различия. Меланхтон как историк достаточно пристрастен: его труды подчинены религиозным идеям. Хроника Олауса более исторична, его объяснения событий более разнообразны.

По мнению Ферма, образцами для Олауса Петри могли служить и античные историки. Особенно показательное сравнение с Полибием. И Полибий, и Олаус утверждали: исторические труды следует изучать для пользы, а не ради развлечения. История учит правильно поступать, не повторять чужих ошибок. Оба историка счита-

ли: необходимо выяснить причины событий, мотивы, которыми руководствовались люди. Оба полагали, что исторические труды должны быть правдивы. И Полибий, и Олаус Петри придерживались мнения, что автор исторического произведения должен быть беспристрастен. Оба были строги по части отбора источников, отказывались использовать древние сказания как исторический материал¹⁴.

В исследовании Ферма содержится ряд интересных и полезных выводов. Однако с некоторыми из его заключений можно поспорить. Так, Ферм полагает, что Олаус Петри – это историк-реформатор. Что же касается ренессансного гуманизма, то он, по Ферму, не оказал влияния на Олауса Петри как историка.

Такие воззрения современного шведского специалиста создают возможности для научной полемики. Мой метод заключается в том, чтобы рассмотреть ряд ключевых эпизодов «Шведской хроники» в совокупности с другими произведениями Олауса Петри и выявить в них элементы гуманистического мировоззрения.

Дань средневековым традициям

Прежде всего отметим, что Олаус являлся отнюдь не только новатором: он многое унаследовал от предшественников – средневековых хронистов. Так, в «Шведской хронике» отразилась характерная для средневековой культуры концепция постоянства и непостоянства мира

¹⁴ См.: *Ferm O. Op. cit. S. 120–153.*

– лат.: *stabilitas / instabilitas*; ср.-швед.: *stadighet / ostadighet*. Согласно средневековым представлениям, мир неустойчив, шаток – *instabilis*. Устойчивым, непреходящим (*stabilis*) является Бог. Человек должен осознать бренность мира, оставить суетные помыслы. Такие рассуждения были распространены во всей Европе; в Швеции они являлись немаловажным мотивом в откровениях Святой Биргитты. С идеей непостоянства связан образ колеса фортуны, которое то возносит человека, то сбрасывает вниз. В «Шведской хронике» содержатся типично средневековые рассуждения о «колесе счастья» и бренности мира сего.

И многие другие религиозные идеи в «Шведской хронике» столь же просты и традиционны. Дьявол, по Олаусу, князь мира сего, но Бог сильнее дьявола. Бог чудесным образом карает зло и вознаграждает добро. С этим связаны размышления о судьбах народов, в первую очередь – шведского народа. По Олаусу, бедствия, которые претерпели шведы – кара от Бога за грехи правителей и их подданных.

С традиционными, средневековыми представлениями в хронике Олауса Петри соседствуют новые, ренессансные. Это, в частности, отразилось в описании короля Эрика Святого – небесного покровителя Швеции, образ которого получил в «Шведской хронике» новую трактовку по сравнению с описаниями в средневековых источниках.

Образ Эрика Святого: рассуждения о благородстве и добродетели

Олаус Петри более всего ценил в правителях добродетель, ум, справедливость, заботу о подданных, миролюбие. Один из образцов монарха для «местера Улофа» – святой король Эрик (Эрик Йедвардссон). Описывая его, Олаус опирался на житие Эрика и на хроники предшественников – прежде всего, на хронику Эрикуса Олаи. Но образ святого короля Олаус изменил, по-иному расставив акценты.

Эрикус Олаи, описывая деяния святого Эрика, черпал материал из жития. Он воспроизвел сведения о том, что святой Эрик был кроток и добродетелен; что за эти качества его избрали королем магнаты и весь народ; что в его жилах текла кровь королей и знати; что он усердно молился, бодрствовал, постился, раздавал милостыню, носил вретище, омывался ледяной водой...

Два момента в жизни святого Эрика интересовали Эрикуса Олаи особо. Первый – обстоятельства избрания Эрика Йедварссона королем. В них, по мнению хрониста, проявился чудесный промысел Божий. Трудные времена таят в себе особый смысл: в конце концов Бог посылает людям достойного правителя. Не случайно избрание короля состоялось в круглом, «юбилейном» году: такие годы – особенно счастливые. Второй вопрос, который занимает Эрикуса Олаи, – это вопрос о происхождении святого короля. Хронисту была известна версия, согласно которой отцом Эрика Йедварссона был «добрый богатый бонд» (*en godher ryker bonde*); бонды и

избрали его королем (*bönder walde honom til konung*). Эрикус Олаи взялся опровергнуть эту версию. Он указывает: о знатном происхождении короля Эрика сказано в житиях и в литургических гимнах. Церковь не может ошибаться в вопросах, связанных с верой; следовательно, Эрик Йедварссон – человек высокого происхождения. Какой смысл был для прелатов в том, чтобы обманывать людей относительно предков святого? Ведь если бы упомянутый король-мученик действительно происходил из низкого рода, то тем большая ему подобала бы хвала за то, что он столь возвысился. Тогда всем было бы ясно, что его восхождение на престол – необычайное происшествие, чудо. Но допустим, когда-нибудь докажут, что этот святой король – незнатного происхождения; что ж, про любого властелина можно сказать, что он выходец из простого люда: ведь людей на знатных и незнатных делит не природа, а судьба. И вообще, к чему эти споры о происхождении? Все мы исходим от одного отца. Да и в Ветхом Завете содержатся сведения о достойных людях, которые были рождены от служанок.

Суждения Эрикуса Олаи по данному вопросу – весьма традиционные, типично средневековые. В них присутствуют «демократические» ноты, но преобладает аристократическая идеология. Для Эрикуса Олаи важно, что Эрик Святой являлся выходцем из знатного рода. Мы также видим, что спор о предках святого Эрика хрониста интересует не только сам по себе, но и как своего рода повод для упражнения в логике и риторике.

Совсем по-другому рассуждает о Святом Эрике Олаус Петри. Он приводит обе версии относительно происхо-

ждения святого Эрика и замечает: не имеет значения, из какого рода происходил Эрик Йедвардссон. Если он был сыном крестьянина, это его нисколько не позорит. Напротив, честь ему и хвала: происходя из низкого рода, заслужил такое уважение, что его избрали королем. благородным (*ädhela*) делает человека добродетель (*dygden*), независимо от происхождения.

Здесь налицо хорошо известный мотив, присутствующий у многих авторов эпохи Возрождения. Гуманисты (которые сами зачастую были выходцами из незнатных семей) утверждали, что благородным человека делает добродетель (лат. *virtus*, итал. *virtù*), а не происхождение. Олаус Петри – сын кузнеца, уроженец небольшого города, пробившийся наверх благодаря способностям, удаче и труду, проповедовал те же идеи, что и его современники-гуманисты в разных странах Европы.

Мы видим, что Олаус Петри, как и Эрикус Олаи, восхищен Эриком Святым. Но поводом для восхищения в данном случае является не аскетическая жизнь, а забота о подданных. Олаусу импонирует, что король Эрик отказался в пользу подданных от части доходов, «которые по праву мог требовать».

Итак, Олаус Петри в своих рассуждениях о Святом Эрике высказывает взгляды, близкие идеям гуманистов о благородстве и добродетели – факт, позволяющий сделать вывод о влиянии ренессансного гуманизма на «Шведскую хронику».

«Прочная крепость перед Богом и людьми».
Рассуждения о замках

Как известно, в позднее Средневековье и Раннее Новое время в ряде стран Европы сносились многие замки, крепости и другие оборонительные сооружения. Это было связано и с политико-административными причинами (централизация, усиление монархии), и с изменениями в военном деле. Гуманисты подчас использовали указанный сюжет как метафору: государь, правящий для блага народа, не нуждается в замках. Показательны рассуждения Джордано Бруно в речи на смерть герцога Юлия Брауншвейгского: «Ты не растрачивал средств на содержание крепостей, которыми обуздываются мятежные народы, ты превосходно понимал, что народы сдерживаются миром, благоразумием, великодушием, щедростью и справедливостью»¹⁵. Сравним указанный фрагмент с мыслями Олауса Петри в «Шведской хронике»:

«Но как бы там ни было с замками и крепостями – настоящему прочную крепость перед Богом и людьми воздвиг тот государь, который держит подданных в законе и праве, не допуская насилие и произвол. Добрая воля народа лучше множества замков и крепостей. Если народ расположен к правителю, не беда, если у того мало замков. Если же государь довел дело до того, что народ непокорен, строптив – не поможет ему множество замков и крепостей»¹⁶.

¹⁵ См. Горфункель А.Х. Джордано Бруно. М., 1973. С. 142–143.

¹⁶ Олаус Петри Шведская хроника. С. 127.

Налицо – сходство идей, позволяющее предположить, что Олаус Петри и в данном случае испытал влияние ренессансных воззрений.

Мир любой ценой: пацифизм в духе Эразма

Наиболее отчетливо связь идей Олауса Петри с ренессансным гуманизмом проявляется в том, что касается пацифистских воззрений. Олаус выступает в «Шведской хронике» как противник войн. Он считает, что нужно стремиться избегать войн, стремиться предотвратить войны путем переговоров и уступок. В том числе – уступок материальных: в случае необходимости, мир должен быть куплен, война всегда обойдется дороже. Типологически указанные идеи сходны с рассуждениями современников Олауса – немецкого теолога Себастьяна Франка и испанского гуманиста Хуана Луиса Вивеса, жившего и работавшего в Нидерландах. При этом несомненно, что взгляды Олауса (так же, как взгляды Вивеса и Франка) испытали значительное влияние трудов Эразма Роттердамского¹⁷. Сходство взглядов Олауса и Эразма проявляется в следующих моментах. Оба автора указывают, что правителям необходима толерантность (дипломатичность, учтивость, вежливость) – лат. *comitas*, швед. *beskedlighet*. И Эразм, и Олаус подчеркивают бессмысленность войн, считают, что нужно всеми силами добиваться мира – по возможности, без ведения войны. По сути близко рассуждениям Эразма следующее высказы-

¹⁷ См. например: [*Erasmus Roterodamus*] *Qverela pacis*, [Basel, 1518]. P. 36, 44–45.

вание Олауса: «Если можно купить мир за деньги, нужно это сделать: мир того стоит». Итак, в рассуждениях Олауса о войне и мире мы видим ярко выраженное влияние ренессансного гуманизма.

Заключение

Приведенные примеры показывают, что вопреки мнению шведского специалиста У. Ферма, на хронику Олауса Петри оказали влияние представления и идеи ренессансного гуманизма. Это видно и в описании короля Эрика Святого, и в экскурсии относительно замков, и в рассуждениях на тему войны и мира. Олаус Петри был человеком, жившим и творившим на рубеже эпох. Выступая в амплуа историка, Олаус, наряду с традиционными средневековыми представлениями и идеями, основывался на концепциях и воззрениях, характерных для культуры Ренессанса.

Andrey J. Scheglov

*Institute of World History
Russian Academy of Sciences*

**OLAUS PETRI'S WORK *A SWEDISH CHRONICLE*:
MEDIEVAL TRADITIONS AND RENAISSANCE INFLUENCE**

The Swedish reformer, theologian and historian Olaus Petri (1493–1552) was a prolific and versatile author. One of his most known writings, *A Swedish Chronicle* (*En svensk krönika*), was completed by the middle of the 16th century. This work deals with the history of Sweden from the primordial times to the early 16th century.

After Olaus Petri's death, King Gustav Vasa read the chronicle and was shocked. The king declared that Olaus lacked respect for his motherland and betrayed the evangelical teaching. The manuscripts of the Chronicle were confiscated, and it was not until the 19th century that the work was printed. Yet handwritten copies of the Chronicle spread over the Swedish Realm.

The Chronicle was published in the 19th century – a fact that stimulated scholarly interest towards this work. Ludvig Stavenow praised Olaus Petri for objectiveness and for the critical treatment of the sources. Gustav Löw highly estimated the merits of Olaus Petri's style. Gunnar T. Westin demonstrated that Olaus partly based his work on Ericus Olai but also used many other sources, including documents from ecclesiastical and secular archives. A modern contribution was made by Olle Ferm, who comes to the conclusion that Olaus belongs to the tradition of the so-called 'pragmat-

ic history'. Ferm points at parallels between Olaus Petri and other historians, especially Polybius.

Ferm thinks, however, that Olaus Petri's chronicle was not influenced by Renaissance ideas. Yet this opinion is open to doubt. In fact, in many parts of Olaus Petri's Chronicle the tradition and the new features are combined. Some ideas were certainly borrowed from the medieval chronicles, for example the traditional concept of instability of the world. But new traits were also introduced – in particular, certain features of Renaissance ideology.

This can be seen in the author's description of Saint Erik – the holy patron of Sweden. Touching upon the question of Saint Erik's ancestry, Olaus expresses the conviction that it does not matter whether Saint Erik's father was a noble or a peasant. It is virtue alone that makes a person noble, according to Olaus, and this thought is common with the humanist perceptions of nobleness. Commenting on destruction of castles and fortresses (which was a vital issue for Europe in the Early Modern Age) Olaus remarks that a truly strong fortress is a government for the sake of the people – a thought which had a distinct parallel in a speech by Giordano Bruno.

In this context, it is especially interesting to study the thoughts on war and peace contained in *A Swedish Chronicle* and to compare them with the ideas of other European thinkers of the 16th century. My study has led me to the conclusion that the problems of war and peace play an important role in Olaus Petri's chronicle. Olaus appears to be an opponent of military conflicts in general. Regarding this aspect, he was strongly influenced by Renaissance humanist

thought. His views concerning war and peace have common traits with the ideas of Renaissance humanists Juan Luis Vives and Sebastian Franck. But it was certainly the ideas of Erasmus that served as model for Olaus. Both Erasmus and Olaus think that it is necessary to use all possible means in order to prevent war. Both are of the conviction that sometimes peace must be “bought” – that is, achieved by means of concessions, and that rulers should demonstrate tolerance and abandon egoistic ambitions. The fact that Olaus Petri was influenced by the humanist ideas on war and peace confirms that Renaissance features are present in *A Swedish Chronicle*.

Olaus Petri was a personality who, so to say, stood on the threshold of the Modern Age. His works combined old and new ideas. This tendency can be also observed in his historical work, *A Swedish Chronicle*.

Марк Аркадьевич Юсим

Институт всеобщей истории

Российской академии наук

ВЕЛИКИЕ ФЛОРЕНТИНЦЫ И ЭВОЛЮЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В ЕВРОПЕ

1. Название данной конференции сфокусировано на понятии научности, точнее научности истории. В сущности, оно могло бы заканчиваться знаком вопроса: появилось ли в историописании Нового времени некоторое новое качество?

Во всяком случае до тех пор история как жанр вряд ли могла претендовать на звание науки, если прилагать сегодняшнее значение слова к предыдущему периоду. В Средние века современному понятию науки могли соответствовать такие слова, как *artes* и *litterae* по традиции, восходящей к античности. В Греции, где зародилась философия, науки в собственном смысле, наверное, не существовало, но оформилось понимание полезности знания для практики и для жизни вообще.

История была жанром, или жанрами (если включить биографии, воспоминания) литературы, повествованием, от которого, однако, в противоположность мифологии требовалось следование истине, достоверность.

В средневековых университетах историю не преподавали в отличие от философии, права, медицины и богословия – она оставалась уделом литераторов и допускала некоторую вольность в рифмованных хрониках, поэмах и эпосах. Тем не менее от составителей анналов и исто-

рий требовалось рассказывать правдиво. Истина – это то, что роднит древнюю историографию и современную науку. Разделяет их то, что от науки в современном понимании требуется однозначное и полезное знание, которого история не дает. Эта проблема на Западе решается с помощью деления дисциплин на *sciences and humanities*, но в русском языке, пока он еще существует, этот вариант не работает, наука выступает как универсальное понятие, унаследованное, впрочем, от западного раннего Нового времени.

2. Как бы то ни было, перемены произошли, и можно говорить по крайней мере об эволюции исторического знания, поскольку это более нейтральная и менее спорная формулировка. Несомненно, что Макиавелли и Гвиччардини, несмотря на разные оценки их наследия, повлияли на развитие историописания Нового времени и их труды стали своего рода переломным моментом в его эволюции.

Поэтому я скажу о нескольких вещах, которые представляются мне заслуживающими обсуждения в рамках данной (нашей) темы: о развитии исторического знания преимущественно в Западной Европе и в мире, и о роли ренессансной Италии в этом контексте.

Предварительно следует заметить, что речь идет о европейской традиции, которая приобрела в Новое время общемировое влияние, но все же не была ни единственной, ни, возможно, безальтернативной. Если исходить из универсалистских позиций и признавать, что развитие человечества шло по единой и закономерной линии, то уместно вспомнить средневековый принцип *translatio*,

который использует и Макиавелли, говоря о сумме добра и зла в мире¹.

Почему в этом контексте важны именно флорентийские историки? Во Флоренции зародился и получил блестящее развитие Ренессанс, который стал, во-первых, возрождением античной греко-римской культуры, словесности, натурфилософии, искусства. Во-вторых, он наследовал и христианскому Средневековью, христианство же родилось из сочетания условно западной греческой традиции – философии, полисной демократии, и восточной – монотеистического иудаизма. В римской культуре также сочетались греческая и восточная традиции, а ренессансная Италия стремилась наследовать Риму. От древности гуманизм унаследовал тягу к рациональному объяснению мира и открытость разным веяниям. Гуманисты полагали, что истина и благо совпадают, то есть что мир рационален. Бог, таким образом, поступал всегда разумно, а все разумное было благом.

Эта идея близка и Августину Блаженному – все сущее есть истина и благо², а затем Г. Гегелю, который, говоря о Платоне, выразил ее в афоризме «что разумно, то действ-

¹ E pensando io come queste cose procedino, giudico il mondo sempre essere stato ad uno medesimo modo, ed in quello essere stato tanto di buono quanto di cattivo; ma variare questo cattivo e questo buono, di provincia in provincia: come si vede per quello si ha notizia di quegli regni antichi, che variavano dall'uno all'altro per la variazione d'è costumi; ma il mondo restava quel medesimo. Discorsi, II, Introduzione.

² «Всё существующее истинно, поскольку оно существует». *Аврелий Августин*. Исповедь / Пер. М.Е. Сергеевко. М., 1992. С. 191 (кн. 7, 15).

вительно; и что действительно, то разумно»³. Макиавелли и Гвиччардини несколько отходят, впрочем, от таких утверждений.

3. Важнейшее для истории нововведение Ренессанса – это перешедшая к нам периодизация всемирного процесса. Хотя в начале XVI в. она еще не сложилась, признание Нового времени (*modernità*) равноценным Древности было первым шагом к отступлению от господствовавшего в Средние века приоритета старины. Этот шаг сделан в рамках старой, циклической парадигмы, но он ведет к главной для Нового времени погоне за новизной. У Макиавелли мы находим высказывание о готовности искать новые способы и порядки⁴ и даже некоторое оправдание *res novae*, революций, которое предвосхищает будущие социальные теории.

Противопоставлением двух эпох – Средних веков и Нового времени, мы обязаны в конечном счете именно Ренессансу. Сегодня преобладает точка зрения, восходящая еще к К. Бурдаху и П. Дюгему, что Ренессанс не сильно порывал с прошлым, с религиозным сознанием, даже с Церковью, а тем более с традиционными способами мышления.

Я буду придерживаться тезиса о переходности Возрождения – оно было новаторским, но в рамках старой парадигмы, когда новое, как это бывает почти всегда в эволюционных процессах, зарождается внутри старого, начинает подтачивать изнутри то в нем, что себя изжило.

³ Гегель Г. В. Ф. *Философия права*. Предисловие автора // Он же. *Сочинения* / Пер. Б.Г. Столпнера. М.; Л., 1934. Т. VII. С. 15.

⁴ *Discorsi*... I, I.

4. Если перейти теперь к истории как науке, то у рассматриваемых авторов можно заметить как раз неброское сочетание разных элементов прошлого и намечающегося будущего.

– Сначала о некоторых чертах, характеризующих обстоятельство написания исторических трудов. Макиавелли продолжил традицию поручений таких трудов канцлерам – это подтверждает, что Медичи, по меньшей мере Климент VII, его все же ценили⁵. Гвиччардини занимал более высокие посты, но написал историю по своему почину. Это было также своего рода продолжение традиции, восходящей к Средним векам, когда высокопоставленные политики на досуге подводили итоги своего времени. Гвиччардини еще в молодости, в 1509 г., 510 лет тому назад, написал «Историю Флоренции», что подтверждает значимость, которую придавали истории, прошлому, своему происхождению образованные люди колыбели Ренессанса. (Об этом свидетельствуют и записки купцов, у Гвиччардини также была семейная хроника такого рода – *Memorie di famiglia*).

Гвиччардини писал «Историю Италии» после Макиавелли, с «Историей Флоренции», изданной в 1532 г., он должен был быть знаком, но он ставил перед собой в конце жизни уже более обширную задачу. В «Истории Италии» нет отсылок к истории Макиавелли, но можно

⁵ Кстати, Медичи, вопреки распространенному в свое время мнению, не остались глухими к идеям, высказанным в «Государе», и при папе Льве X и его племяннике Лоренцо ди Пьеро, пытались идти по пути, к которому призывал Макиавелли в своем трактате, в частности, установив власть над Урбино. Но их усилия оказались тщетными.

найти некоторые следы возможного знакомства с мнениями его приятеля, например, в рассказе о Савонароле⁶.

– Жанр. По жанру оба основных рассматриваемых сочинения («История Флоренции» Макиавелли и «История Италии» Гвиччардини) являются аналитическим рассказом о прошлом, хотя первая посвящена прошедшим делам, а вторая – фактически современности. История Гвиччардини начинается с того момента, когда история Макиавелли завершилась.

– Подбор и критика источников. Она была и раньше, но она усилилась у Гвиччардини, который придавал первостепенное значение достоверности передаваемых сведений. Он иногда указывает на источники своих сведений и сопоставляет разные версии. В Новое время флорентийский историк подвергся критике со стороны Л. фон Ранке⁷, который упрекает его как раз в присущих Средним векам недостаткам – в некритическом пересказе источников и изложении по годам. Но эти упреки несправедливы, Гвиччардини был в действительности про-

⁶ Гвиччардини Ф. История Италии / Пер. М.А. Юсима. М., 2018. Т. 1. Кн. 2, гл. 2, 7; кн. 3, гл. 13, 15. См. также: Юсим М.А. Савонарола-реформатор в «Истории Италии» Франческо Гвиччардини // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2018. Т. 9. Выпуск 9 (73) [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: <https://history.jes.su/s207987840002480-7-1/> (дата обращения: 12.07.2019). DOI: 10.18254/S0002480-7-1.

⁷ «Внедрение критического подхода к источникам в обиход исторической науки стало важнейшим достижением Ранке. Своей ранней известностью и карьерой он обязан безжалостному разоблачению научных ошибок Гвиччардини...». Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка / Пер. с англ. М.Л. Коробочкин; ред. В.А. Русев. М., 2000. С. 85.

возвестником того направления исторической критики, основателем которого считается Ранке, и в своей оценке «Истории Италии» последний сам недостаточно историчен⁸.

– Нужно упомянуть о самом простом и прямом влиянии Макиавелли и Гвиччардини на более позднюю историографию – об элементарном следовании отбору событий и отчасти их оценкам у этих двух авторов. (При этом у Гвиччардини есть факты, нигде больше не встречающиеся, – об обетах Карла при Форново, о роли Маддалены Медичи в продаже индульгенций)⁹.

– Интерес к вопросу о национальных монархиях, проявленный у Макиавелли особенно в «Государе», у Гвиччардини, помимо его полемики с последним, ознаменован переписыванием «Хроники» Фруассара, фактически рассказывающей о первой войне за национальную независимость в Европе.

– Поиск скрытых пружин истории. Это один из ключевых признаков любой науки, наука занимается выявлением неочевидного. Другими словами, это вопрос об объяснении истории, притом объяснении, основанном не столько на описании стремлений и поступков отдельных

⁸ *Fueter E.* Geschichte der neueren Historiographie. München; Berlin, 1911. S. 71. «Тот, кто не знает труда Гвиччардини, вынесет из отзывов Ранке впечатление, что речь идет о неловкой и недобросовестной компиляции, в то время как ни один современный ему историк не сравнится с Гвиччардини в тщательном и критическом использовании источников».

⁹ *Гвиччардини Ф.* История Италии... Т. 1. Кн. 2, гл. 9; Кн. 3, гл. 6; Т. 2. Кн. 13, гл. 15.

лиц и групп, сколько на поиске более глубоких причин, предопределяющих результаты этих поступков.

Здесь первое, что приходит в голову, это, конечно, сверхъестественное начало, Бог в истории, который в Средние века безраздельно в ней господствовал, хотя не всегда вмешивался, а в Новое время совершенно ее покинул. У Макиавелли и Гвиччардини Бог (вместе с духами) остается как предполагаемый действующий фактор истории, но оттесняется на задний план природой, фортуной и повторяющимся круговоротом событий.

В дальнейшем, как мы знаем, в качестве внутренних пружин истории стали выступать прогресс, классовая борьба, взаимоотношения с географической средой (было распространено в период Ренессанса), интересы групп, опосредованно действующие через политические и экономические структуры и не всегда осознаваемые, как подсознательные импульсы в психоанализе.

Несоответствие целей и результатов в истории в Средние века понималось как неисповедимость Божьего промысла – справедливое воздаяние гарантируется только в загробном мире. Макиавелли занимает вопрос, почему людям редко удается добиваться успеха, – его ответ: потому что они следуют своей природе, а обстоятельства меняются. Если бы люди могли знать все обстоятельства, они управляли бы звездами, но так не бывает¹⁰. Особенно Гвиччардини в споре со своим другом

¹⁰ «Поистине, – говорит Макиавелли, кто был бы настолько умен, чтобы постичь все времена и положения и приспособиться к ним, тому всегда везло бы, или он избегал хотя бы неудач, тогда сбылась бы поговорка, что мудрый командует звездами и роком. Но по-

настаивает на неповторимости ситуаций и обстоятельств¹¹. В сущности, это вариант вопроса о том, какие внешние силы управляют людьми, и о том, почему и каким образом происходит подмена целей – вопрос, присутствующий во всех вышеупомянутых объяснениях истории. В качестве примера можно назвать знаменитую «невидимую руку рынка» А. Смита, а также теории объективных целей В. Парето и В. Вундта. (В средневековых историях, например, у Дж. Виллани, речь в таких случаях идет о человеческой слепоте или неразумии, насланных Богом¹²).

В последнюю очередь я бы хотел сказать о том, с чего можно было бы начать, и с цитаты, которую я поставил эпиграфом к Введению в перевод «Истории Италии» Гвиччардини: «Правильное суждение затруднено, т.к. ... люди отвыкли называть вещи их истинными именами и утратили способность правильно их оценивать»

сколько таких мудрецов не видно, в силу людской близорукости и неумения подчинить себе собственную природу, судьба непостоянна и распоряжается людьми, она держит их под игмом». Письмо к Джованбаттисте Содерини, сентябрь 1506 г. («Фантазии, адресованные Содерини»). См.: Юсим М.А. Письмо с необычной судьбой // Культура и общество Италии накануне Нового времени. М., 1993. С. 176. I ghiribizzi al Soderini.

¹¹ «Невозможно поступать в жизни всегда по одному твердому и безусловному правилу... надо действовать, различая свойства людей, обстоятельств и времени; для этого необходимо чутье, но если его нет от природы, то научиться ему по опыту можно лишь очень редко, по книгам же – никогда». Гвиччардини Ф. Заметки о делах политических и гражданских, 186 // Он же. Сочинения / Пер. М.С. Фельдштейна. М., 1934. С. 166.

¹² Виллани Дж. Новая Хроника, или История Флоренции / Пер. М.А. Юсима. М., 2019 (2-ое изд.). Кн. 6, гл. 79; кн. 7, гл. 7; кн. 8, гл. 56; кн. 9, гл. 214 и др.

(«essendo perduti i veri vocaboli delle cose, e confusa la distinzione del pesarle rettamente»)¹³. В таком виде она несколько оторвана от контекста, но все цитаты, которые становятся крылатыми фразами, оторваны от контекста. На деле автор говорил о том, что реальный папа (Юлий) по своей воинственности не соответствует чину главы Церкви, но его поступки люди одобряют. Эта фраза, на мой взгляд, заслуживает тем не менее того, чтобы стать блестящим афоризмом, ведь сегодня не менее часто слова употребляются даже образованными и учеными людьми механически, без размышлений над их смыслом. Рассуждения о словах, об их неоднозначности, о правильности их употребления сегодня, наверное, не являются главным трендом в научной истории, но они должны были быть в центре внимания. Слова в современном политкорректном мире затемняют смысл еще больше, чем прежде. Мысль заменяется вывеской. А историк, как и все люди, думает словами и поэтому должен думать над словами (которые он использует).

¹³ *Гвиччардини Ф.* История Италии... Кн. 11, гл. 8.

Mark A. Youssim

*L'Istituto di storia universale
Dell'Accademia Russa delle scienze*

I GRANDI FIORENTINI E L'EVOLUZIONE DELLA CONOSCENZA STORICA IN EUROPA

1. Il titolo del presente convegno è focalizzato sul concetto della scientificità , o più precisamente della scientificità della storia. In sostanza, vi si potrebbe mettere il punto interrogativo: davvero la storiografia dell'Età moderna è caratterizzata dalla qualità radicalmente nuova?

Ad ogni modo prima di quest'epoca è poco probabile che la storia come genere possa pretendere di chiamarsi una scienza, se la parola scienza nel senso volutamente moderno è applicabile al periodo precedente. Nel medioevo al concetto attuale della scienza potevano in parte corrispondere le parole come “artes” o “litterae” secondo la tradizione risalente all'antichità. In Grecia, dove nacque la filosofia, la scienza nel senso proprio probabilmente non esisteva, ma si formò la comprensione dell'utilità della conoscenza per la pratica e per la vita in generale.

La storia era un genere o un insieme di generi (se includiamo anche le vite, le memorie) letterari, una narrazione dalla quale però, in contrasto alla mitologia, si chiedeva la verità fattuale, l'attendibilità . Nelle università medievali la storia non era insegnata a differenza della filosofia, diritto, medicina e teologia: rimaneva il destino dei letterati e ammetteva una certa licenza nelle cronache rimate e nelle canzoni di gesta. Ciononostante gli autori degli annali

e delle storie dovevano raccontare i fatti veridicamente. La verità è la cosa che riunisce la storiografia antica e la scienza moderna. La differenza sta nel fatto che dalla scienza nel senso moderno, la scienza della natura, si richiede la conoscenza utile e univoca, la quale non è propria alla storia. Questo problema all'Occidente si risolve tramite la divisione delle discipline in sciences e humanities, ma in lingua russa questa variante non funziona perché la scienza («наука») viene considerata come un concetto universale, risalente, d'altronde, ai primi tempi moderni occidentali.

2. Comechessia le trasformazioni erano avvenute e si può parlare perlomeno dell'evoluzione della conoscenza storica: questa è una formulazione più neutrale e meno discutibile. Non c'è dubbio che Machiavelli e Guicciardini, indipendentemente dalle valutazioni diverse del loro patrimonio, hanno influenzato la storiografia dell'età moderna e le loro opere divennero un punto di svolta nell'evoluzione di essa.

Perciò dirò di alcune cose che meritano, secondo me, di essere trattati nell'ambito del nostro tema: lo sviluppo della conoscenza storica prevalentemente in Europa Occidentale e nel mondo, e il ruolo dell'Italia rinascimentale in questo contesto.

In via preliminare bisogna osservare che si parla della tradizione europea la quale ha acquisito nell'età moderna un'importanza mondiale, ma non era d'altronde né unica, né probabilmente incontrastata. Se accetteremo il punto di vista dell'universalismo e riconosceremo l'uniformità dell'evoluzione umana secondo le leggi oggettive, si può ricordare il principio medievale della *translatio*, di cui parla

anche Machiavelli riflettendo sul bilancio di buono e cattivo nel mondo¹.

Perché proprio gli storici fiorentini sono di prima importanza in questo contesto? A Firenze era nato e si sviluppò nel modo brillante il Rinascimento, il quale diventò, in primo luogo, la ripristinazione della cultura antica greco-romana, delle lettere, della filosofia della natura, delle arti. In secondo luogo, era l'erede del medioevo cristiano, e cristianesimo nacque dalla riunione della tradizione convenzionalmente occidentale, quella greca, cioè la filosofia, la democrazia di polis, e di quella orientale, cioè del giudaismo monoteistico. La cultura romana pure combinava la tradizione greca e quella orientale, e Italia rinascimentale cercava di imitare Roma. Dall'antichità l'umanesimo ereditò la tendenza alla comprensione razionale del mondo e l'apertura alle diverse correnti del pensiero. Gli umanisti credevano che la verità e il bene coincidono, cioè che il mondo è razionale. L'Iddio, quindi, agiva sempre secondo la ragione, e tutto il ragionevole era buono. Questo concetto è vicino anche a Sant'Agostino che trovava nel tutto esistente la verità e il bene², e all'età nuova a G. Hegel, il quale parlando di Platone, lo esprime nell'aforismo: "Ciò

¹ E pensando io come queste cose procedino, giudico il mondo sempre essere stato ad uno medesimo modo, ed in quello essere stato tanto di buono quanto di cattivo; ma variare questo cattivo e questo buono, di provincia in provincia: come si vede per quello si ha notizia di quegli regni antichi, che variavano dall'uno all'altro per la variazione d'è costumi; ma il mondo restava quel medesimo. Discorsi, II, Introduzione.

² Omnia vera sunt in quantum sunt

<http://www.thelatinlibrary.com/augustine/conf7.shtml> 7.15.21

Confessiones.

che è razionale è reale; e ciò che è reale è razionale”³. Machiavelli e Guicciardini sono però abbastanza lontani da tali affermazioni.

3. Una delle più importanti innovazioni del Rinascimento è la periodizzazione del processo storico mondiale sopravvissuta fino a noi. Anche se all’inizio del XVI non si era ancora formata, il riconoscimento della modernità come un equivalente dell’Antichità diventò il primo passo alla recessione dalla priorità dell’antico che predominava nel medioevo. Questo passo era fatto all’interno del vecchio paradigma ciclico, ma porta verso la corsa alle novità, caratteristica per i tempi moderni. Machiavelli infatti parla del suo desiderio di cercare nuovi modi e ordini⁴ ed esprime anche una certa giustificazione delle *res novae*, delle rivoluzioni, la quale anticipa future teorie sociali.

L’opposizione delle due epoche, il medioevo e l’età nuova è in fin dei conti il nostro obbligo al Rinascimento. Oggi prevale il punto di vista risalente ancora a K. Burdach e P. Duhem, che il Rinascimento in sostanza non rompeva con il passato, con la coscienza religiosa, nemmeno con la Chiesa e tanto più con i modi di pensare tradizionali.

³ «was vernünftig ist, ist wirklich und was wirklich ist, ist vernünftig». *Hegel G.W.F. Werke*. Bd. VIII. *Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse* / Hrsg. von Dr. E. Gans. Berlin, 1833. S. 17. (<https://ia800206.us.archive.org>).

⁴ Ancora che, per la invida natura degli uomini, sia sempre suto non altrimenti pericoloso trovare modi ed ordini nuovi, che si fusse cercare acque e terre incognite, per essere quelli più pronti a biasimare che a laudare le azioni d'altri; nondimanco, spinto da quel naturale desiderio che fu sempre in me di operare, senza alcuno rispetto, quelle cose che io creda rechino comune beneficio a ciascuno, ho deliberato entrare per una via... *Discorsi*, I, I.

Io mi terrò della tesi sulla transitività del Rinascimento, il quale era innovativo, ma nell'ambito del paradigma vecchio, quando il nuovo, come quasi sempre nei processi evolutivi, nasce all'interno del vecchio, comincia a erodere quello che diventò anacronistico.

4. Ora se passeremo alla storia come scienza, noteremo negli autori che stiamo considerando, appunto una combinazione discreta dei diversi elementi del passato e del futuro che si accennava.

– Prima dirò di alcuni tratti caratterizzanti le circostanze della creazione delle opere storiche. Machiavelli continuò la tradizione delle commissioni di tali opere ai cancellieri di Firenze. È una conferma del fatto che Medici, almeno Clemente VII, nonostante tutto lo apprezzavano⁵. Guicciardini aveva gli incarichi più alti, ma scrisse la sua storia per iniziativa personale. Era pure la continuazione sui generis di una tradizione medioevale, quando i politici altolocati nel tempo libero facevano il bilancio di loro tempi.

Essendo ancora giovane, nel 1509, 510 anni fa, Guicciardini scrisse una storia di Firenze, ciò che conferma l'importanza che attribuivano alla storia, al passato, alle loro origini le persone istruite della culla del Rinascimento. (Un'altra testimonianza ne sono i libri di ricordi dei mercanti, anche F.Guicciardini ha creato una cronaca familiare di questo tipo, le Memorie di famiglia).

⁵ A proposito, i Medici, al contrario dell'opinione un tempo corrente, non rimasero del tutto sordi alle idee espresse nel "Principe" e viventi ancora il papa Leone X e il suo nipote Lorenzo di Piero cercavano di seguire la strada accennata da Machiavelli nel suo trattato, in particolare, appropriandosi di Urbino. Ma i loro sforzi si rivelarono vani.

Guicciardini scriveva la Storia d'Italia dopo Machiavelli, doveva conoscere le Istorie fiorentine pubblicate nel 1532, ma si poneva, alla fine del suo percorso terrestre, un obiettivo più universale. Non vi sono i riferimenti all'opera di Machiavelli, ma si può trovare alcune tracce della possibile conoscenza delle opinioni del suo amico, per esempio nel racconto di Savonarola⁶.

– Secondo il genere tutt'e due opere in oggetto (“Istorie fiorentine di Machiavelli” e la “Storia d'Italia” di Guicciardini) sono la narrazione analitica del passato, benché la prima è dedicata alle cose scorse, invece la seconda di fatto più al presente. Ma la storia di Guicciardini comincia dal momento dove quella di Machiavelli ha finito.

– La scelta e la critica delle fonti. Esisteva anche prima, ma era aumentata da Guicciardini perché attribuiva la prima importanza alla veridicità delle informazioni riportate. Alle volte indica anche le sue fonti e confronta diverse versioni. L. von Ranke⁷ il quale lo rimprovera appunto di mantenere gli usi antiquati del medioevo: la riproduzione acritica delle fonti e l'esposizione per la successione degli anni. Ma queste affermazioni sono ingiuste, Guicciardini era in realtà

⁶ Guicciardini F. Storia d'Italia. 2-2, 2-7; 3-13, 3-15.

⁷ “The introduction of a critical approach to the sources into mainstream history writing was Ranke's most important achievement. He owed his early fame and promotion to a merciless expose of Guicciardini's faults as a scholar”. Tosh J. The Pursuit of History. Aims, methods and new directions in the study of modern history. 5th Ed. L. e. o., 2010. P. 123; Fueter E. Geschichte der neueren Historiographie. München; Berlin, 1911. S. 76. «Внедрение критического подхода к источникам в обиход исторической науки стало важнейшим достижением Ранке. Своей ранней известностью и карьерой он обязан безжалостному разоблачению научных ошибок Гвиччардини...».

predecessore di quella direzione della critica storica, il fondatore della quale è considerato Ranke e quest'ultimo nella sua valutazione della "Storia d'Italia" non si dimostra un vero storicista, cioè rimane poco fedele all'approccio sentitamente storico⁸.

– Bisogna menzionare anche l'influenza più diretta e semplice di Machiavelli e Guicciardini sulla storiografia successiva: l'imitazione elementare della selezione degli avvenimenti e in parte dei giudizi di due autori. (D'altronde, Guicciardini cita i fatti che non si trovano nelle altre fonti, ad es., sui voti di Carlo ottavo presso Fornuovo, sul ruolo di Maddalena de' Medici nella vendita delle indulgenze)⁹.

– L'interesse alla questione della monarchia nazionale dimostrato da Machiavelli soprattutto nel "Principe", presso Guicciardini, a parte le sue polemiche con questi, è segnato nella trascrizione della Cronaca di J. Froissart dove si narra la storia della prima guerra per l'indipendenza nazionale in Europa.

– La ricerca delle molli nascoste della storia. È uno dei tratti chiave di qualsiasi scienza perché qualsiasi scienza si dedica all'evidenziamento delle cose non evidenti. In altre parole è la questione della spiegazione storica, peraltro la spiegazione fondata non tanto sulla descrizione degli appetiti e azioni di singole persone e gruppi, quanto sulla ricerca

⁸ "Wer Guicciardinis Werk nicht kennt, wird aus Rankes Darstellung den Eindruck einer ungeschickten und unredlichen Kompilation empfangen, während doch kein zeitgenössischer Historiker G. an sorgfältiger und kritischer Benutzung des Quellenmaterials gleichkommt". *Fueter E. Geschichte der neueren Historiographie...* S. 71.

⁹ *Guicciardini F. Storia d'Italia...* 2-9, 3-6; 13-15.

delle cagioni più profonde, che predeterminano i risultati di queste azioni.

La prima cosa che viene in mente è ovviamente il principio sovranaturale, l'Iddio nella storia, il quale nel medioevo la dominava incontestatamente, anche se non sempre interveniva direttamente nell'andamento delle cose, e nell'età nuova la abbandonò definitivamente. Nel Machiavelli e Guicciardini il dio (insieme con gli spiriti) rimane come un fattore attivo presupposto nella storia, ma viene respinto in retroscena dalla natura, la fortuna e la circolazione iterativa degli avvenimenti.

In seguito, come sappiamo, in veste delle molli interne della storia si vedeva il progresso, la lotta di classe, i rapporti con l'ambiente geografico (l'idea non estranea al Rinascimento), gli interessi di gruppo operanti indirettamente attraverso le strutture politiche ed economiche e non sempre concepiti, a modo degli impulsi subcosci in psicanalisi.

La discordanza dei fini e dei risultati nella storia nel medioevo era compresa come l'inscrutabilità della provvidenza divina: la ricompensa giusta è prevista soltanto nel mondo dell'oltretomba. Machiavelli si pone la domanda: perché gli uomini di rado ottengono il successo, la sua risposta è: perché non mutano la loro natura, e le circostanze invece si cambiano. Se l'uomo potesse conoscere tutte le circostanze, sarebbe in grado di guidare le stelle, ma così non succede¹⁰.

¹⁰ "E veramente chi fussi tanto savio, che conoscessi e' tempi e l'ordine delle cose et accomodassisi a quelle, arebbe sempre buona fortuna o e' si guarderebbe sempre da la trista, e verrebbe ad essere vero che 'l savio

È Guicciardini che polemizzando con il suo amico insiste soprattutto sulla singolarità delle situazioni e delle occorrenze¹¹. In sostanza è una variante del problema delle forze esterne che governano la condotta umana e del perché e del come avviene la sostituzione degli obiettivi, in particolare, nella mente umana – la domanda presente in tutte le spiegazioni della storia sopraccitate. A titolo d'esempio si può annoverare la famosa “mano invisibile del mercato” di A. Smith, oppure le teorie degli scopi oggettivi (l'eterogenesi dei fini) di W. Pareto e W. Wundt¹².

Per ultimo vorrei riportare una citazione con la quale si potrebbe cominciare e la quale ho messo come epigrafo alla mia Prefazione della traduzione in russo della “Storia d'Italia” di Guicciardini. “[Il giudizio diventa poco corretto] essendo perduti i veri vocaboli delle cose e confusa la distinzione del pesarle rettamente”¹³. Qui è strappata dal contesto, ma tutte le citazioni che diventano celebri aforismi, sono in parte strappate dal contesto. In realtà l'autore dice

comandassi alle stelle et a' fati. Ma perché di questi savi non si truova, avendo li uomini prima la vista corta e non potendo poi comandare alla natura loro, ne segue che la fortuna varia e comanda a li uomini, e tiegli sotto el giogo suo”. *Machiavelli N. I ghiribizzi al Soderini*. URL: <http://www.treccani.it/enciclopedia/ghiribizzi-al-soderino>

(дата обращения: 11.07.2019).

¹¹ *Guicciardini F. Scritti politici e Ricordi / A cura di R. Palmarocchi*. Bari, 1933. “Non si può in effetto procedere sempre con una regola indistinta e ferma... bisogna procedere distinguendo la qualità delle persone, de' casi e de' tempi, ed a questo è necessaria la discrezione, la quale se la natura non t'ha data, rade volte si impara tanto che basti con la esperienza; co' libri non mai”. 186.

¹² Nelle teorie medioevali, ad es. G. Villani, questo problema si risolve come accecamento o la perdita della ragione nell'uomo per volontà di Dio (*Villani G. Nuova Cronaca*. 6-79, 7-7, 8-56, 9 – 214 ecc.).

¹³ *Guicciardini F. Storia d'Italia...* 11-8.

che le bellicose azioni del papa Giulio II non corrispondevano al suo titolo del capo della Chiesa, ma era lodato lo stesso. In ogni caso questa citazione mi sembra degna di diventare un aforismo brillante universale, perché oggi le parole vengono non meno spesso utilizzate anche da persone istruite e dotte nel modo meccanico, senza penetrare nel senso di esse. I ragionamenti sulle parole, sull'ambiguità e sulla regolarità dell'uso di esse forse non sono oggi il trend principale nella storia scientifica, ma lo dovrebbero essere. Le parole nel mondo odierno della correttezza politica adombrano il senso ancora più che prima. Il pensiero viene sostituito dalla insegna. Lo storico, comunque, come tutti gli uomini, pensa tramite parole, perciò deve pensarci sopra le parole che usa.

Научное издание

**ГВИЧЧАРДИНИ И МАКИАВЕЛЛИ
У ИСТОКОВ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ
НОВОГО ВРЕМЕНИ**

Материалы международной научной конференции.
Москва, 23-24 сентября 2019 г.

Макет – А.А. Майзлиш

Подписано в печать 31.07.2019 г.

Формат 60x84/16

Гарнитура Таймс. 9 усл. п.л. Тираж 76 экз.
Тип. зак. №

Институт всеобщей истории РАН,
Москва, Ленинский пр-г, 32 а